Танцующий Аист



Первый парень на деревне 3

Танцующий Аист

Первый парень на деревне 3

«Автор»
2026

Аист Т.

Первый парень на деревне 3 / Т. Аист — «Автор», 2026

В Пропадино приехала проверка. С папками, бахилами и серебром. Нечисть велено поставить на учёт, особо опасных — вывезти, Витька — спасти. Витёк спасаться не собирается.Я прячу соседей и пытаюсь понять, кто написал донос.Кицунэ предлагает помощь, но сперва надо принять её пари. А по селу развешивают фонарики: скоро здесь пройдёт сотня демонов.

© Аист Т., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Бахилы 5
Глава 2. Анкета 12
Глава 3. Глаза 19
Глава 4. Всё про всех 26
Глава 5. Под музыку 33
Конец ознакомительного фрагмента. 37

Танцующий Аист
Первый парень на деревне 3

Глава 1. Бахилы

— Так будете или нет? — Галина сняла кефир с полки за спиной, не оборачиваясь, и поставила на прилавок рядом с моим хлебом. — Вчерашний. Сегодняшнего не будет, понедельник, хлебовозка кефир по понедельникам не возит. Вас много, а кефир один. Берите, пока который с хлебом не взял.

Старший, с папкой, перевёл взгляд с кефира на меня и обратно на кефир, на кефире хотя бы стояла дата, а на мне никакой даты не стояло. Улыбка при этом держалась, не дрогнув ни на одном из трёх взглядов.

— Будем. — Он обратился к прилавку, поверх моего плеча. — Один, пожалуйста. И чек, если вас не затруднит, чек нам необходим для отчётности, у нас каждая позиция подтверждается документально, это не прихоть, это порядок.

Он полез во внутренний карман за кошельком, куртка отошла, а под курткой оказалась блузка с бантом, голубая, в мелкий горох. Такие носят методистки отдела образования на проверках в школах, и школы их боятся. Женщина лет сорока пяти, стриженная коротко, в синей куртке на размер больше, чтобы сидела формой. За её плечом стоял второй, парень лет двадцати пяти, в очках, с планшетом в чехле, смотревший под прилавок, куда взрослые люди в магазине не смотрят.

Галина пробила кефир через терминал, терминал подумал, прожевал ленту и выплюнул чек в палец длиной. Она оторвала чек, положила на крышку кефира ровно посередине и щёлкнула костяшкой.

— Сто двенадцать. Сдача гематогеном, мелочи нет, понедельник, в понедельник мелочи не бывает, её за выходные бабки выгребают на свечки. Пакет не дам, пакеты у меня для своих, а вы с папкой, в папку положите. Следующий.

Женщина взяла кефир вместе с чеком, взяла гематоген и отступила от прилавка на шаг, оказавшись рядом со мной, плечом к плечу. Гематоген она сунула в карман не глядя, чтобы дома развернуть и долго думать, что это такое.

Очередь за нашими спинами стояла на месте. Утром, когда я входил с улицы, она расступилась передо мной, пропустив к прилавку так, что я не задел ни одной кошёлки. Теперь она сомкнулась. Клавдия встала в дверь, Зинаида с козой на верёвке встала за Клавдией, коза встала тоже, поперёк, на этом проход и кончился. Тимофеевна прижала к груди две буханки, будто их могли отнять. Двоих в куртках никто из них не замечал. Замечали счёты, на которых Галина считала что-то своё.

Женщина раскрыла папку, под прозрачным верхом лежал список, столбик через строку, номера слева, всё одним шрифтом. Читать вверх ногами я умею с давних пор, двенадцать лет за столом напротив людей с анкетами учат этому сами собой, иначе никогда не узнаешь, что они про себя пишут. Верхней строкой в столбике стояла моя фамилия, с инициалами и с номером дома.

— Подскажите, пожалуйста. — Женщина повернулась к Клавдии. Клавдия стояла ближе всех, обойти её было нельзя. — Мы с коллегой проводим плановый опрос населения по поступившему обращению. Нам необходимо уточнить, где здесь у вас, если можно так выразиться, нечисть. В смысле, по каким адресам проживает.

Клавдия смерила её сверху, хотя была ниже на голову, это умение выработалось у неё на зятьях.

— У Зинаиды коза. Во дворе проживает. Вон она, в дверях, сама пришла, вам и ходить не надо, записывайте с натуры. Нечисть такая, что огурцы у меня через забор ест, ботву ест, вчера верёвку перегрызла и пришла ко мне на крыльцо, стоит и смотрит. Зинаида, скажи ей, чего она у меня вчера съела.

— Георгины. — Зинаида намотала верёвку на кулак, коза подняла голову. — Три штуки, бордовые, которые я на выставку растила. Она не ест, Клава. Она дегустирует.

Коза уставилась на женщину с папкой, женщина уткнулась в папку. Про козу там ничего не было, это читалось по пальцу, палец шёл по столбику сверху вниз и не находил, на чём остановиться.

Она открыла папку на другом листе, чистом, разлинованном.

— Я зафиксирую. Это не упрёк, это, поймите правильно, наблюдение: у вас, по всей видимости, своё понимание термина, и мы его учтём в рамках регламента, регламент это допускает. Коллега, отметьте, пожалуйста, что коза. Коллега.

Парень ничего не отметил. Он сидел на корточках у прилавка, под ларём с пельменями, и смотрел в щель между ларём и полом, а в щели лежал кот, Галинин, рыжий, с рваным ухом. Лежал он там всегда, сколько я помню сельпо. От ларя тянуло холодом, от печки с другой стороны теплом, а кот нашёл место посередине и занял его на всю жизнь.

Парень думал о нём прямо сейчас, глядя во все глаза, с открытым ртом, и даже протянул руку. Кот руку заметил, ухом не повёл и остался лежать на своём стыке.

— Денис. — Женщина не обернулась, только перехватила папку выше.

— Секунду, Инна Валерьевна, секунду, тут, похоже, интересное. — Он говорил с середины. Фраза у него начиналась в голове минуту назад, рот её только догонял. — Понимаете, он лежит на стыке. Ровно на стыке. Холодное слева, тёплое справа, а он посередине, и ему нормально, и это же не просто так, у них это никогда не просто так. Я бы померил, но прибор в машине, у Степана Игнатьевича, а он не даст, он никогда не даёт, он говорит, что я им размахиваю. Это же прямо…

Он не договорил, он весь ушёл в кота, а я ушёл в него и видел то же, что видел он. Кота, рыжего, с рваным ухом, ни больше ни меньше, у парня в голове лежал тот же самый кот, что и под ларём. Только для парня этот кот был событием, всё здесь было для него событием, а он это прятал. Лицо держал, а руки держать не умел, пальцы у него шевелились, будто уже печатали.

Женщина прятала другое. Поверх неё стояла вторая она, с тем же бантом, у этой второй дрожал подбородок. Не от нас и не от козы, а от чего-то дальнего, за селом, за дорогой, от кабинета в конце августа, там кто-то читает отчёт и решает, нужны ли на следующий год эти двое в бахилах. Она боялась не того, за чем приехала, она боялась, что её сократят.

Этот страх я знал. Двенадцать лет сидел с ним в одном кабинете.

— Ладыгин Андрей Павлович?

Она читала с листа, переводя глаза с листа на меня и обратно, как сверяют фото в паспорте. Я кивнул, отрицать фамилию, напечатанную верхней строкой, было бы смешно.

— Я так и поняла, вы соответствуете описанию. Мы к вам обязательно подойдём, Андрей Павлович, но позже, в рамках регламента: сначала по адресам, в порядке списка, список составлен не нами, и менять порядок мы не вправе. Мы ни в коем случае не хотим вас задерживать. Это не упрёк. Это планирование. — Она закрыла папку. — Коллега.

Денис встал с корточек, оглянулся на кота уже с порога и вздохнул.

Они пошли к двери, перед ними отступила Клавдия, отступила Зинаида, а коза не отступила. Женщине пришлось обойти её по стенке, прижав папку к груди, и пройти мимо меня так близко, что я почувствовал запах кефира, бумаги и чего-то металлического, холодного, чего я не узнал.

С места у прилавка было видно, как они спускаются по трём ступеням, а внизу, на гравии, были бахилы. Голубые, из тонкого шуршащего полиэтилена, натянутые поверх городских

ботинок резинкой, они уже пошли дырами, бахилы делают для линолеума, не для дороги. Женщина это заметила, остановилась на нижней ступени над своими дырами и не сняла, а поправила резинку, подтянула вторую и пошла по гравию дальше, шурша.

Галина щёлкнула костяшкой, поставив точку, и точка была не про кефир.

— Тимофеевна, две отложено, бери и не прижимай, они тебе ничего не сделают. Зинаида, козу забери с порога, у меня люди. Который с хлебом, ты чего стоишь: шёл, так иди.

С крыльца сельпо видно всю Центральную до поворота на Верхнюю, а дальше, если прищуриться, поверх крыш видна лавка деда на изгибе. Я встал на верхней ступени, с хлебом под мышкой, а двое шли по улице.

Шли они не по-нашему. Здесь ходят от калитки к калитке, с заходом, с разговором, с остановкой у колодца, там всегда кто-то есть. Эти шли по осевой, словно по коридору, у каждой калитки женщина сверялась с листом, а Денис нёс за ней планшет перед собой обеими руками, на вытянутых, подносом.

Занавески вдоль улицы ходили, у Поли, у Клавдии, через дом и через два. Занавеска отходила на ладонь, когда двое подходили к калитке, и возвращалась на место после них. Улица дышала занавесками с утра, с первого дома, задолго до того, как я с хлебом сообразил, что эти не из санатория. Село увидело их первым, а я только вторым.

У калитки Поли женщина остановилась, сверилась, вынула из папки лист, Денис отметил что-то в планшете, а калитка так и не открылась. Тогда женщина положила лист на столбик, прижала камнем с обочины и пошла дальше, а лист остался лежать, белый, под камнем, в том самом виде, в каком у нас на Ржевке вешали объявления об отключении воды.

Двое ещё не дошли до следующей калитки, когда Полина дверь открылась. Поля вышла в кофте, в той, в какой выходит к курам, подошла к столбику, сняла камень, взяла лист и долго читала. Потом перевернула его чистой стороной вверх, положила обратно, прижала тем же камнем и ушла в дом. Двое этого не видели, они уже разговаривали со следующей калиткой.

— Начальник.

Толян сидел на корточках у стены сельпо, слева от крыльца, под тем местом, где по утрам писали мелом ставки, а сегодня стена была белая и пустая. Сидел он в своём «адидасе» лицом вдоль улицы, туда же, куда я, лузгая семечки медленно, по одной.

Он кивнул подбородком вдоль улицы.

— Тут эти, с бахилами. Мы с пацанами с утра смотрим, с хлебовозки, они с хлебовозкой заехали, представляешь, на хлебовозке, сзади, с ящиками, водила их за полтинник подкинул. Серый говорит, они до вечера всё село пройдут, если по списку, а по списку у них, он посчитал, тридцать с чем-то адресов, он у Поли через забор заглянул. Мелкий говорит, не пройдут, Поля не откроет, а они без Поли дальше не пойдут, у них порядок, им по порядку надо. Я говорю: нам-то чего. Нам, начальник, вопрос один, чисто по-братски, нам продавать или как?

— Что продавать, Толян? — Я переложил хлеб под другую руку.

— Что спросят. — Он сплюнул шелуху в сторону, в одно место, там уже лежала горка. — Они ж спрашивать будут. Они по этому делу, у них вся работа спрашивать. Кто спрашивает, тот покупает, это ещё при прежнем так было, при прежнем тоже ходили, только без бахил. А эти с папкой. С папкой, значит, не сами по себе. Не сами по себе, значит, у них есть чем. Венец у сельпо, кстати, сгнил, с угла, ты не трогай, он сам держится, пока не трогают.

Про венец он сказал между делом, я обернулся на угол, а угол был как угол.

Лист под камнем у Полиной калитки белел издали.

— Не продавать. Пока не продавать, Толян. Я ещё не разобрал, что они покупают, а пока я не разобрал, цены нет, а без цены ты продашь за семечки. Как разберу, скажу. До тех пор у вас не наш отдел.

— Так я и говорю: или как. — Толян поднялся с корточек, у него это случалось редко, и отряхнул колени. — Значит, так: пока ты не понял, мы тоже не поняли, пацанам я скажу, Мелкому отдельно скажу, чтоб не болтал, у него не получится, но я скажу, и всё.

Он ушёл за угол, к скамейке остановки. Я остался на ступени.

Дед шёл по Центральной снизу, с авоськой, в галошах на босу ногу, не торопясь, на работу не торопится тот, кто сам себе начальник. Он прошёл мимо двоих, а двое стояли у калитки Клавдии и разговаривали с калиткой, сама Клавдия была здесь, в сельпо, и калитка отвечала им тем же. Дед на двоих не взглянул, его заняли их ноги, бахилы, надолго, с узнаванием, после чего он прошёл дальше, шлёпая галошами по пыли.

У крыльца он поднял голову, кивнул мне и шага не сбавил.

— Сам теперь, а?

Дошёл до лавки, сел, достал из авоськи то, что доставал каждый день, и устроился лицом к улице с занавесками, словно по ней ничего особенного не ходило.

Я стоял на ступени и думал про столбик. Утром я решил, что они ищут, что пришли по-санаторски пошарить по дворам и ткнуть пальцем в интересное. Эти не тыкали, эти шли по списку сверху вниз, им не надо было ничего находить, у них всё было найдено и напечатано заранее, оставалось сверить и поставить галочку. Так ходят не ищущие, так ходят те, кто считает. Я сам так ходил, с другой стороны стола, с таким же столбиком, улыбаясь точно так же, этому учили.

Верхней строкой в столбике стояла моя фамилия, а ниже, я не успел дочитать, стояла ещё одна, которую я знал.

Вечерний приходит в десять минут восьмого, Витёк ездит на нём из Живина, если коляска на одних парах, а по понедельникам она на одних парах всегда. Выйдет он у сельпо, на разворотном круге. На том же круге двое оставят машину, если у них есть машина, а у таких она есть всегда.

Я положил хлеб на перила крыльца, потом взял обратно, а домой так и не пошёл. ПАЗ я встречу сам, раньше них, и Витьку скажу до того, как ему скажет кто-то с листом под камнем.

Машину я увидел в седьмом часу, с лавки на остановке, из-под мозаики, на которой космонавт держал колос, а корова глядела в космос. Серый кроссовер без надписей, с краснобойскими номерами, чистый до блеска, какого в селе ни одна машина не довозит и до поворота, стоял по ту сторону круга, у берёзы, носом к дороге. В нём на водительском кто-то сидел, плечо, кепка, огонёк, вспыхивавший, гаснувший, вспыхивавший снова. Третий курил в машине с закрытыми окнами, ему было всё равно, что окна запотеют.

Он сидел там, когда я пришёл. Сидел, когда вечерний показался на бетонке снизу, гремя всем, чем гремит ПАЗ, вошёл в круг и встал у павильона, не глуша мотор. Сидел, когда открылась дверь.

Витёк вышел первым, он всегда первый, едет у двери и выходит, пока ПАЗ ещё катится. Кепка козырьком назад, термос под мышкой, пакет из «Пятёрочки» в руке. Увидев меня на лавке, он сделал то самое лицо, какое бывает у человека, весь день нёсшего новость и наконец донёсшего.

— Андрюха. — Он сел рядом, не поздоровавшись, термос поставил между коленей. — Ты это. В Живине тоже спрашивали. Про тебя. Я у «Пятёрочки» стою, жду, кому чего отвезти, а там двое, и один такой с папкой, и он у охранника спрашивает. Не про село. Про тебя. По фамилии. Так и говорит: Ладыгин, и имя-отчество, и прописку назвал. А охранник говорит: не знаю такого. А я стою и тоже говорю: не знаю такого. И мне стыдно, Андрюха, я ж знаю, а говорю, что не знаю, а он на меня посмотрел и в папку записал.

— Тебя записал? — Я подвинулся на лавке, чтобы он сел спиной к кругу. — Или охранника?

— Не знаю, кого. Записал и ушёл. Я два часа у «Пятёрочки» простоял, никому ничего не отвёз, день пропал, ни одного заказа, дачники мимо, и все на меня смотрят, будто я уже чем-то виноват. Потом сюда, на ПАЗе, коляска у тебя под остановкой с утра, на одних парах, я её с утра тут бросил. Ты зачем тут сидишь? Ты ж вечером дома сидишь, ты у меня по вечерам домашний.

— Тебя жду. Эти двое здесь. С утра. Ходят по домам, с листом. Я в листе.

— Я понял, что в листе, я ж видел, как он писал. — Витёк открутил крышку термоса, налил в неё, понюхал и не стал пить. — Ты мне другое скажи, Андрюха. Они кто? Не санаторские, я санаторских знаю, те в шортах. И не из администрации, из администрации в бахилах не ходят, они в галошах ходят, у них у самих грязь. Эти с папкой, и папка не наша, не районная, на районной герб, а у этих ничего, просто синяя. Я два часа стоял и думал, чья папка, и не придумал. Ты их видел ближе. Чья?

— Не знаю, чья. Они ничьи не говорят. — Я взял у него крышку, отпил и отдал. — Они говорят «мы с коллегой» и «в рамках регламента». Они купили кефир и попросили чек для отчётности. Витёк, у человека, который просит чек за кефир, есть кто-то, кому он этот чек понесёт. Вот к тому и вопрос, чья папка. А тот сюда не приехал. Тот сидит в кабинете и ждёт отчёта к пятнице.

— К какой пятнице? У нас пятниц в августе ещё три штуки, не считая эту, и каждая хуже прежней, в пятницу ПАЗ битком.

— К ближайшей. У таких всегда к ближайшей, потом к следующей, потом к концу месяца. Я, Витёк, двенадцать лет так жил. Пятницы у них не кончаются. Кончаются люди в списке.

Витёк перевёл глаза с меня на круг, с круга на машину, увидел её только сейчас, вместе с огоньком, и промолчал. За два месяца это было самое громкое, что Витёк мне сказал, молчать он умел не лучше, чем ездить медленно.

ПАЗ ушёл. Глушков не выходил здесь ни разу, не вышел и теперь, захлопнул дверь и дал по газам. Круг опустел, стало слышно, как у кроссовера на холостых работает мотор, тихо и дорого.

Вахтовка комбината к остановке не заходит, она забирает у поворота, за селом, у бетонки, там же высаживает, а дальше люди идут пешком. Я услышал её раньше, чем увидел, гремела она выше ПАЗа, новым комбинатским дизелем, гремевшим с гордостью. Она прошла по бетонке, встала у поворота за берёзами и выпустила троих, двое пошли вниз, к Нижнему, а третья пошла сюда.

Валька шла с пересменки, я узнал её по походке, не по лицу. После двенадцати часов на ногах она шла прямо, головы не опускала, пакет несла не качая, а в пакете, это я знал не глядя, было мясо. Мимо кроссовера она прошла, не повернув головы, обошла его по дуге, на шаг дальше, чем требовалось, по памяти, открытый люк и тот обходят ближе.

У лавки она остановилась, не села, повернулась к Витьку, потом ко мне, нос у неё дёрнулся, коротко, вверх.

Валька поставила пакет на лавку между нами, ручек не отпустила.

— Серебром пахнут. Не люди. Машина. От машины тянет, с сиденья, спереди, с правого. Люди пахнут кефиром. Я сказала, я решила: иди домой, мой. Туда не ходи. Витьку возьми. Пакет это тебе, положи в холодное, это со смены, это хорошее, бригадир сказал, кому хочу. Всё.

Она положила пакет мне на колени, холодный, тяжёлый, в бумаге, а я ничего не успел сказать, да она и не ждала. Развернулась и пошла вниз, к Нижнему, догонять своих двоих, ни разу не оглянувшись, а пакет на моих коленях остывал дальше, будто в нём ещё шла смена.

Я повернулся к Витьку, а Витёк был весь там, на кругу.

Дверь кроссовера была открыта, третий стоял снаружи. Я видел его в первый раз во весь рост и не увидел ничего, силуэт против заката, кепка, куртка той же синей породы, что у двоих,

только на нём она сидела иначе, по-ношеному, он носил её давно. К нам он не пошёл и в село не пошёл. Он сделал два шага, не больше, от машины к павильону, туда, где под навесом, за урной-пингвином без головы, стояла коляска Витька, с утра брошенная, с пустым баком. Постоял над ней и что-то сделал руками, чего я не разобрал, руки у него были заняты, он перебирал что-то на пальцах. Потом два шага обратно, сел, закрыл дверь, в стекле снова появился огонёк.

— Чего он хотел? — спросил я, когда дверь закрылась.

— Не знаю. — Витёк закрутил крышку термоса, хотя термос был закрыт. Это была неправда. Он это знал, я это видел, и обоим нам было не до того, огонёк в машине опять вспыхнул.

Калитка была моя, это было видно издали, по белому. На столбике, у щеколды, вровень с глазами, там, где у Поли утром лежал лист под камнем, у меня была наклейка, прямоугольная, с клеем, такая, какую не сдуешь и камнем не придавишь, ей камень не нужен.

«Объект № 14. Опрос запланирован».

Ниже, мелко, номер телефона и часы приёма.

Я стоял перед калиткой и читал, а Витёк стоял рядом и читал тоже, шевеля губами.

Витёк потрогал наклейку пальцем, проверил, горячая ли.

— Четырнадцатый. А кто первые тринадцать? Дед? Поля? Галина? Галина точно, у неё коза в дверях. А я какой? Я, Андрюха, на Совхозной, Совхозная от тебя через всё село, если они по порядку, то я…

Он не договорил и стал считать на пальцах, которых не хватило.

Утром в столбике я был первым, а теперь четырнадцатый, между двумя этими цифрами лежал день, за который они прошли по селу и всех пересчитали. Я поднял руку содрать, ноготь зашёл под уголок, но наклейка держалась, такие клеят на весь срок, на ящики, на счётчики, на то, что не твоё.

Я опустил руку. Это была бумага, их бумага, а чужое не трогают даже на своей калитке. Пусть висит, пусть сами знают, что висит.

В доме было холодно.

Не вечерним августовским холодом, когда с озера тянет и надо закрыть окно, а зимним, утренним, каким бывает в доме, если печь не топили с ночи. Здесь было даже холоднее, в этом доме её топили каждый день с июля, так что я привык входить в тепло, как в воду. Печь была холодная, я положил ладонь на бок, на побелку, на то место, где обычно горячо, а побелка оказалась сухая, прохладная, ничья. Чайник на плите стоял холодный, воды в нём было столько, сколько я оставил утром.

Пирога не было. С воскресенья, с того дня, как хозяйка снова стала печь, пирог лежал на столе каждый вечер под полотенцем, а я привык к нему быстрее, чем к чему-либо здесь. Сегодня на столе лежало одно полотенце, сложенное, пустое, накрывавшее место того, кто не придёт.

Говорить было некому, хозяйки не было ни за печкой, ни за заслонкой, ни в тех местах, где она одновременно не была и была. Дом стоял прибранный, холодный, с полотенцем на столе, так ждут гостей, которых не ждут.

Я положил мясо Вальки в холодное, на лавку под окном, достал свитер, тот, с той стороны, и надел, меня повело. В августе так ведёт одного меня, я к этому привык.

Витёк вошёл следом, увидел полотенце и остановился в дверях.

— А пирог где? Она ж с воскресенья печёт, ты сам говорил, с капустой, и я ещё в ПАЗе думал, что сегодня приду и… — Он оглядел печь, чайник, меня в свитере. — Холодно у тебя. Ты печку не топил, что ли? Или она?

— Или она. — Я сел за стол, на своё место, напротив полотенца. — Я утром ушёл, печь была тёплая. Я вернулся, печь холодная. Между этим в село вошли двое в бахилах и прошли

по всем калиткам. Я, Витёк, в её дела не лезу, у нас так заведено с первого дня, но вот что я думаю. При чужих в доме она не топит. Не хочет, чтобы пахло пирогом, когда в селе такие. Или не хочет, чтобы в доме было тепло, когда придут считать. Что из двух, не знаю. Знаю, что чайник холодный, а я хотел чаю.

— Я могу у матери в Живине завтра взять, у неё газ, она напечёт, она тебе ещё с лодки должна… — Витёк не договорил, махнул рукой на дверь. — Ладно. Пошли, я коляску поставлю, а то она у тебя под крыльцом стоит, как чужая, и мне за неё стыдно.

Витёк на крыльце возился с коляской. Он прикатил её от остановки руками, бензина не было, а заводить на парах при третьем в машине он не решился. Теперь он поставил её у крыльца, на своё место, и отогнул край сиденья за ключом. Под дерматином у него полка, а на полке ключ, тряпка, зажигалка и всё, что кладут туда, чтобы не потерять.

Он достал не ключ.

В руке у него был гвоздь, длинный, кованый, с квадратной шляпкой, чёрный, тот самый. Я сам положил его туда вчера вечером, пока Витёк пил из второй крышки, повернувшись к дорожке. Положил шляпкой вверх, к ключу, ничего не объяснив, а он видел и не спросил.

Теперь он держал гвоздь в пальцах и вертел, вещь из собственного кармана, про которую не помнишь, откуда она взялась.

— Андрюха. — Он не поднял головы. — Это чего? Железо.

Я сел на ступеньку, а Витёк сел на сиденье коляски, боком, не убирая гвоздь, и держал его перед собой, чужое письмо, пришедшее на твой адрес.

— Он подошёл. — Витёк положил гвоздь на ладонь, шляпкой к себе. — Тот. Из машины. Ты с Валькой говорил, а он подошёл и встал над коляской. И не на меня смотрел. На неё. На сиденье. Стоял, будто через дерматин видит. У него на пальце было намотано, нитка, что ли, серая такая, он её перебирал, туда-сюда, туда-сюда. И он мне не «здрасте», не «вы такой-то», ничего. Он на коляску посмотрел, на бак, на сиденье, и спросил. Негромко. По-простому, будто про погоду: «Железо возишь?»

Витёк поднял гвоздь к свету, какой ещё оставался. Поднёс шляпку к самому лицу, одним глазом.

— А я откуда знаю, чего я вожу.

Глава 2. Анкета

Термос стоял на верхней ступеньке крышкой вниз, а Витёк сидел ступенькой ниже, спиной к двери, лицом к калитке с наклейкой, хотя в этот час ему полагалось греметь в ПАЗе по бетонке в сторону Живина. ПАЗ ушёл без него. Это было слышно по тишине на разворотном круге и видно по спине Витька, спине человека, опоздавшего на целый день.

Я сел рядом, на холодную ступеньку, в свитере. Утро стояло тёплое, по огороду шёл пар, а я мёрз. Витёк на свитер даже не покосился, он к нему привык быстрее меня.

— Андрюха. Они в семь пришли. — Он взял термос, перевернул крышкой вверх, открутил и ничего не налил. — В семь, я чайник ещё не ставил, я в трусах, у меня дверь без звонка, они костяшкой, тук-тук, аккуратно так, я думаю, Толян, кому ещё в семь, у Толяна одного совесть такая, чтоб в семь. Открываю, а это она. С папкой. И он, с планшетом, в очках, стоит сзади и в подъезд смотрит, у нас там на стене написано, что написано, он читает. Третьего нет, третий, видать, в машине спит. И она мне говорит: Жилин Виктор Николаевич? Я говорю: ну. Она: Совхозная, первая, квартира три? Я говорю: так вы ж в ней стоите, вот она, три, на двери, цифра, видите. И она, Андрюха, на дверь посмотрела и записала. Цифру. С двери. Будто я ей сказал, а она проверила, и сошлось.

Он заржал, коротко, с присвистом, потом налил наконец в крышку.

— Я им так и сказал. Я говорю: спросите у смотрителя. Она говорит: а кто такой смотритель? А я говорю: сам не знаю. И вот ты не поверишь, я ж не соврал, я тебя два месяца знаю, я у тебя на крыльце живу, я тебе чай наливаю, и я не знаю, кто ты такой. Она мне: уточните. Я: чего уточнить, смотритель и смотритель, у нас так говорят. Она: кто говорит? Я: все. Она записала «все». Я видел, она так и написала, «все», в кавычках.

Он протянул мне крышку. Чай был из той же банки, что вчера, грел он только руки.

— Чего они спрашивали, Витёк? Кроме цифры с двери.

— Всё спрашивали. Кем работаю, с кем живу, есть ли, говорит, у вас, Виктор Николаевич, ну, это самое, контакты, и не с кем, а с чем. Я говорю: с чем? Она говорит: с явлениями. Я говорю: у меня коляска, какие явления, у меня бензина нет. Она и бензин записала. И кто ко мне ходит, и к кому хожу я. Я говорю: к Андрюхе. Она: к кому? Я: ну, к смотрителю, на Верхнюю, первый дом. А она говорит: Ладыгин? А я молчу. Я думаю, я ж вчера у «Пятёрочки» говорил, что не знаю такого, а теперь скажу, что хожу к нему каждый вечер, и выйдет, что я вчера соврал, а я не люблю, когда выходит. Я промолчал. А она кивнула. Она кивнула так, будто я ответил. Будто она знала. — Витёк поставил крышку на ступеньку. — А потом ПАЗ ушёл. Я слышал с кухни, он у нас за домом разворачивается, а я стою в трусах и слушаю. День пропал. Второй подряд. Мне у «Пятёрочки» теперь скажут: ты где был, Витёк, у нас дачники, у нас шкафы. А я им что. Я им: ко мне в семь приходили.

Он поднялся, прошёл к коляске у крыльца, отогнул край сиденья и показал мне, не доставая. Гвоздь лежал там же, шляпкой к ключу.

— Я не трогал. Пусть лежит, раз спросили. Раз спросили, значит, надо, чтоб было. Я так понимаю. А ты как понимаешь, ты ж его туда положил, не я.

— Так же. Пусть лежит.

Витёк отпустил сиденье и вернулся на ступеньку, а я сидел и думал про порядок. Вчера на листе моя фамилия стояла верхней строкой, к вечеру я стал четырнадцатым, а первым, в семь утра, в трусах, оказался Витёк. Список составлен не ими, менять порядок они не вправе, это я слышал в сельпо. Кто-то составил этот список так, чтобы Совхозная, первая, квартира три шла раньше Верхней. Кто-то знал, к кому надо раньше.

Моего друга записали первым. Меня четырнадцатым. Между нами двенадцать калиток, у каждой они простоят по часу.

— Сиди здесь. — Я встал со ступеньки. — Никуда не ходи, в Живино сегодня всё равно не доедешь. Я сделаю так, чтобы они пришли ко мне первому. Не четырнадцатым, а сейчас, пока они не прошли ещё по двенадцати дворам и не набрали про меня двенадцать мнений.

— Ты к ним пойдёшь, что ли? — Витёк задрал голову. — Не ходи, у них порядок, они тебя по порядку, они при мне Клавдию по порядку обошли, она им из окна кричала, а они к ней не пошли, у них Клавдия пятая.

— Не пойду. Позвоню.

На наклейке, под «Объектом № 14», стояли телефон и часы приёма, с девяти. Было начало десятого. Телефон в доме не ловил, со дня антенны в нём жила одна палка, в сенях, к колодцу же палок приходило две. Я спустился к колодцу, набрал номер и слушал гудки, облокотившись на сруб. С этого сруба Поля всегда снимала ведро не глядя, сегодня ведра на срубе не было.

— Представительство, Круглова, слушаю вас. — Голос был тот же, что в сельпо, только без лица, без лица он был моложе.

— Ладыгин. Верхняя, первая. Четырнадцатый у вас. Инна Валерьевна, я дома и до вечера дома, у меня холодный чайник, но есть стул. Если вам всё равно, с кого начинать, начните с меня. Если не всё равно, скажите, с кого, и я подожду.

Она помолчала столько, сколько нужно, чтобы открыть папку.

— Андрей Павлович, я вас поняла, и я ценю. Но порядок опроса определён списком, список составлен не нами, и в рамках регламента я не вправе менять последовательность по инициативе объекта, в том числе если инициатива, я подчёркиваю, добросовестная. Это не отказ. Это порядок. Мы подойдём к вам в свой черёд, прошу вас не покидать адрес.

— Я и не покидаю. Я вам об этом и звоню.

— Я зафиксирую, что вы на адресе. Спасибо за звонок.

Она отключилась первой. У неё «спасибо» выходило без усилия, одним выдохом, мне на секунду стало завидно, по-настоящему, до самого горла.

Витёк ждал на ступеньке. Я прошёл мимо него в дом, в холод, налил холодной воды в холодный чайник, поставил на холодную плиту и сел ждать четырнадцатой очереди.

Костяшкой постучали в дверь минут через сорок.

На пороге стояла Круглова с папкой, за ней Денис с планшетом, а под ними, на моём крыльце, шуршали бахилы, новые, целые, утренние. Витёк сидел на ступеньке сбоку с открытым ртом.

— Андрей Павлович, мы к вам раньше регламента. — Круглова перехватила папку выше. — Объекты с пятого по тринадцатый по адресам отсутствуют. Все. В одно утро. Калитки закрыты, дома закрыты, на стук не отвечают, у одного адреса стоит коза. Это не ваша заслуга, Андрей Павлович, я хочу, чтобы это было понятно, это стечение обстоятельств. Мы можем войти?

Село не открыло. Я звонил, просил, предлагал стул, а село просто закрыло калитки, все разом. Этого хватило.

Хлебницу она переставила первой, до того как села.

Она вошла, окинула кухню, нашла стол, нашла на столе хлебницу. Взяла её двумя руками, как берут чужую кошку с чужого стула, и перенесла на лавку под окном, к мясу Вальки. Только после этого на освободившееся место легла папка.

— Хлебницу я переставлю, если позволите, она у вас стояла не на месте, не поставлена, если можно так сказать, на учёт рабочей поверхности. Это не упрёк. Это пространство для работы, Андрей Павлович, нам нужна плоскость.

Не спросив, она села на мой стул и открыла папку на чистом листе с графами. Денис в дом вошёл, но до стола не дошёл. Он остановился у печи, достал из чехла то, что вчера

называлось прибором и лежало в машине у Степана Игнатьевича, а сегодня досталось ему. Прибор оказался серой коробкой размером с кирпич, с круглым окошком и стрелкой. Денис держал его двумя руками перед грудью, снизу, под дно, с тем самым лицом, с каким вчера глядел на кота.

Прибор молчал. Стрелка лежала на нуле. Денис поднёс его к печи, к побелке, к заслонке с химическим карандашом прадеда, к ходикам, стрелка не дрогнула. Он был этим расстроен всерьёз, ребёнок, которому обещали фокус.

— Приступим. — Круглова щёлкнула ручкой. — Анкета стандартная, вопросы по порядку, отвечайте так, как считаете нужным, мы фиксируем формулировку. Первый вопрос. По данному адресу, Верхняя, дом один, вы себя кем считаете?

Я сидел на табуретке напротив, на витьковской, а Витёк остался на крыльце, в дом его не позвали, сам он не пошёл.

— Хозяином.

За печью, за заслонкой, фыркнуло.

Коротко, носом, по-человечески, за стеной врали, а за стеной слушали. Круглова подняла голову от папки. Денис обернулся к печи всем телом, с прибором.

— Коллега, вы слышали?

— Печь. Это печь, Инна Валерьевна, тяга, у них тут тяга в дымоходе, воздух идёт обратно, когда снаружи теплее, чем в трубе, это физика. — Он сунул прибор к заслонке. Стрелка не шелохнулась. — Ничего. Ноль. Это тяга.

— Зафиксируем «хозяином». — Круглова написала с нажимом, бумага под ручкой углубилась. — Второй вопрос. На каком основании вы проживаете по данному адресу? Документ.

Паспорт лежал во внутреннем кармане телогрейки, на гвозде. Я достал его, раскрыл на прописке и положил перед ней. Из паспорта выпала квитанция, та, с печатью, иероглифы по кругу и колосок, без единой заполненной графы. Я носил её в паспорте с июля, об этом она не знала.

Круглова взяла квитанцию, повернула к свету, повернула обратно. Денис подошёл, забыв про печь.

— Это же… это прямо интересное. Печать есть, а граф нет. Ни одной. Это чек без суммы, Инна Валерьевна, это… — он поискал слово и не нашёл. — Можно, я сфотографирую? Я не должен, но это же просто уникальный…

— Фотографируйте. Документ неустановленного образца, прилагается копия. — Она положила квитанцию рядом с паспортом, краем к краю, Денис щёлкнул планшетом дважды. — Кем выдан, Андрей Павлович?

— Председателем ТОС. Лао Чжаном. Это не документ, это бумага. Он сам так объяснял.

— Зафиксируем «бумага».

Пока она писала, я повернулся к окну. У калитки, снаружи, с той стороны штакетника, стоял третий. Днём он оказался человеком, пожилым, в кепке, в синей куртке на размер меньше кругловской, обношенной до мягкости. В дом он не шёл и к калитке не притрагивался. Он стоял, задрав голову к коньку моей крыши, к антенне Толяна, от которой в доме с августа завелась одна палка. Стоял долго, с сигаретой, не докуривая, а пальцы на свободной руке перебирали что-то серое, туда-сюда, нитку в два оборота.

— Третий вопрос. — Круглова подняла голову. — Вы в свитере. Шерстяном. На улице двадцать четыре градуса. Почему?

— Мёрзну. — Я потянул рукав ниже, свитер и без вопроса был мне велик. — В городе не мёрз. Здесь с июля.

Свитер потянул на целую строку. Вверх ногами читалось «одежда не по сезону» и дальше в скобках что-то мельче.

Денис тем временем сел. Он выбрал второй стул, прадедов, тяжёлый, с резной спинкой, подтащил его к столу и сел, поставив прибор на колени. Стул под ним отъехал.

На вершок, не больше, назад, с коротким скрипом по полу, будто его толкнули коленом. Денис колена не поднимал. Он глянул вниз, на пол, поставил прибор на стол и подвинул стул обратно двумя руками. Стул отъехал снова, на тот же вершок. Денис остался сидеть там, куда стул решил, на вершок дальше от стола, чем все.

— Пол неровный. — Он выговорил это мне одному, тихо, извиняясь за чужого. — Старый дом, лаги ведёт.

— Ведёт, — согласился я.

— Четвёртый вопрос. Награды, поощрения, грамоты. — Круглова не подняла головы, грамоту видно с порога, все её видят с порога, она висит над столом на прадедовом гвозде от календаря. Рамки у неё нет, уголок загнулся. — Одна?

— Одна. — Я кивнул на стену, кивать на неё было удобнее, чем произносить вслух. — Спасательная станция. За лебедя.

Она подняла глаза на грамоту и опустила на лист.

— Я зафиксирую «спасательная станция», как в тексте. Формулировку «за лебедя» оставлю в примечании, с ваших слов. Пятый вопрос. Горячая вода в доме есть?

Чайник стоял на плите с холодной водой, в холодной кухне, на холодной плите. Я встал, тронул бок, он был той же температуры, что и всё в этом доме с утра понедельника.

— Как назло, нет. Чайник холодный. Я ставил.

— Отсутствие горячего водоснабжения, — произнесла она, записывая. На слове «назло» ручка не остановилась, «назло» в графу не шло.

Хлебница стояла на столе.

У стены, между солью и папкой, на своём месте, а на лавке под окном лежало одно мясо Вальки. Я не видел, когда она вернулась. Круглова не видела тоже, она писала. Денис сидел на отъехавшем стуле, уставившись на хлебницу, вчерашний кот был ей ровня, рука его поползла к прибору.

Круглова подняла глаза, увидела хлебницу, замолчала и переставила её обратно на лавку. Без слов. Второй раз комментировать хлебницу было ниже регламента.

— Шестой вопрос.

Пока она читала вопрос с листа, хлебница вернулась на стол. Мы с Денисом оба следили за Кругловой, а хлебница тем временем встала, где стояла. Круглова разглядывала её долго, с тем самым подбородком, что вчера дрожал у второй её. В третий раз трогать не стала. Она подвинула папку. Папка уступила.

— Шестой вопрос, — повторила она. — Кто, кроме вас, проживает по данному адресу? Постоянно или периодически.

— Никто.

Фыркнуло снова, за заслонкой, громче.

— Тяга. — Денис выговорил это себе под нос и записал в планшет что-то маленькое, сбоку.

Табуретка подо мной была низкая, витьковская, стол с неё приходился в грудь. Денис заметил, встал, сходил в сени и принёс оттуда третий стул, кухонный, с выгнутой спинкой, из тех, что стоят у меня в сенях для очереди. Он поставил его рядом со мной, подвинув табуретку, тихо, с лицом человека, который не должен, а потом стоял над стулом и ждал.

Я открыл рот.

Язык сделал «с» и упёрся в зубы. Слово было тут, за зубами, я его знал с двух лет, оно не шло. Я сделал ещё раз «с», опять ничего, во рту стало сухо. Денис ждал, Круглова ждала, ручка ждала над графой.

— Ага, — выдавил я и сел на принесённый стул.

Круглова написала одно слово, короткое, с нажимом. Я прочёл его вверх ногами до того, как она закрыла графу ладонью. «Невежлив».

— Это не оценка, Андрей Павлович. — Она не поднимала глаз. — Это наблюдение. Реакция на оказанную помощь. Поймите правильно.

Я понял правильно. Две недели я не мог выговорить это слово ни хозяйке, ни Витьку, ни деду. Никто из них ни разу не записал. Для этого нужен был человек с папкой.

Лао Чжан постучал в дверь через час, когда вопросы дошли до двенадцатого. Стучал он всей ладонью, трижды, стуком человека с основанием.

Он вошёл с папкой. Папка была серая, казённая, с тесёмками, под мышкой он нёс её бережнее собственного локтя. В другой руке была коробочка с печатью, я знал эту коробочку по окошку конторы. У порога он разулся, поставил ботинки носками к двери и прошёл в носках к столу.

— Заявитель, у вас проверка, мне сообщили. — Он кивнул мне, потом Кругловой, потом Денису, каждому отдельно, по старшинству, какое определил сам. — Когда проверяют хозяйство на территории, присутствует орган самоуправления. С позволения сказать, я орган. Лао Чжан, председатель территориального общественного самоуправления «Пропадино», протокол номер один. Я присутствую.

Он сел на табуретку, оставленную мне Денисом. Стол был занят, папку он положил на колени и приготовился присутствовать.

Круглова оглядела его от носков до папки, во второй её, поверх первой, дрогнул подбородок: в списке Лао Чжана не было. Мимо списка прошёл живой человек с печатью, в рамках регламента для него не было графы.

— Вы… представитель администрации?

— Самоуправления. Администрация в Живине, она выше, я ниже, но я ближе. — Он произнёс это с удовольствием, объяснять место в системе было его любимым делом. — У вас есть вопросы к территории, я вижу. Вопросы к территории идут через меня. Это форма.

— У нас есть вопросы к реестру проживающих. — Круглова взяла себя в руки, взяла папкой, положив на неё ладонь. — Нам нужен список жителей с указанием, кто по какому адресу, с какого года и на каком основании. Нам сообщили, что такого списка нет.

— Кто сообщил?

— Мы не комментируем источники.

Лао Чжан раскрыл серую папку, вынул из неё три скреплённых листа и протянул Кругловой двумя руками, в точности так, как в июле протягивал мне квитанцию.

— Реестр. Семьдесят два двора. По адресу, по году, по основанию, с подписью главы двора. Там, где глава отказался подписывать, стоит отметка «отказ» и подпись свидетеля. Там, где свидетеля не нашлось, стоит моя подпись и дата. Всё заполнено. Я заполнял с июля.

Круглова читала. Она читала долго, сверяясь со своим столбиком под прозрачным верхом, палец её шёл по обоим листам одновременно, вниз, не останавливаясь, доходил до низа и возвращался наверх, чтобы пройти ещё раз, помедленнее. Денис заглядывал ей через плечо с тем же лицом, что у неё, только без страха, одно удивление.

— Сходится. — Она произнесла это голосом врача. — Всё сходится, Денис. Адреса, годы, фамилии. С нашим списком. До одного человека. — Она подняла голову. — Так не бывает.

— Бывает, если заполнять. — Лао Чжан упрёка не расслышал. — Вы заполняете, я заполняю, цифры одинаковые, это, с позволения сказать, и есть правильно. Если бы не сходилось, вот тогда бы я спросил: у кого ошибка? А тут сходится. Поздравляю.

Он действительно поздравлял. В носках, с печатью в коробочке на коленях, он сидел на моей табуретке и радовался, что у чужих людей правильные цифры. Круглова держала три его

листа перед собой, она ждала вора, а пришёл честный человек. С честным человеком регламент не знал, что делать.

Она перевернула свою анкету, чтобы положить рядом, тут Лао Чжан увидел её лист. Он наклонился, прочёл графы сверху донизу и выпрямился.

— Извините. А где у вас графа «кто подписывал»?

— Какая графа?

— «Кто подписывал». Кто заполнил анкету, тот ставит подпись, и тот, кого опрашивали, ставит подпись, тогда видно, кто за что отвечает. У вас есть «объект», есть «дата», есть «примечание», а подписи нет. Ни вашей, ни его. — Он кивнул на меня. — Как же вы работаете?

Круглова не ответила. Она разглядывала свой лист так, будто увидела его впервые, папка в её руках поднялась выше, к груди.

— Денис. Куратора.

Денис прислонил планшет к хлебнице на её законном месте и ткнул в экран. На экране появился кабинет, светлый, с окном, с книжной полкой, а в кабинете немолодой человек с седыми висками и в галстуке сидел вполоборота и только потом повернулся к экрану.

— Жан-Батист, добрый день, Круглова. Докладываю по объекту четырнадцать, Ладыгин, Верхняя, один. — Она говорила в планшет громко и отчётливо, на манер разговора с глухим. — Реестр территории сходится с нашим списком полностью. Повторяю, полностью. Прошу указаний.

Человек на экране кивнул. Потом ещё раз, с паузой. Потом открыл рот.

— Э-э… да, Инна, документ. Сфотографируйте его, э-э, с двух сторон, печать отдельно.

Это был ответ про квитанцию. Квитанцию сфотографировали час назад. Звук шёл с отставанием, картинка кивала до слов, а слова приходили на прошлый вопрос. Круглова ждала, сложив руки на папке, пока догонит.

— Сходится… э-э… полностью? — Человек на экране поднял брови, с опозданием, брови остались поднятыми дольше, чем нужно. — Это, э-э, нехорошо, Инна. Так не бывает. Проверьте, кто составлял. Проверьте, когда. Отчёт к пятнице, в полном объёме, э-э, с фотографией.

— Составлял я. — Лао Чжан наклонился к планшету, вежливо, чтобы попасть в кадр. — С июля. Лао Чжан, председатель. Если нужно, я подпишу, у меня печать с собой.

Человек на экране кивнул ему. Через паузу. На это Лао Чжан ещё не говорил, кивок пришёл на него до слов. Лао Чжан, не привыкший к такому, кивнул в ответ, тоже с паузой, из уважения.

— Отчёт к пятнице, — повторила Круглова, уже не экрану, а себе, и записала это на полях.

Планшет погас. Круглова вернула Лао Чжану три его листа, не попросив копии, он убрал их в серую папку. Потом достал из коробочки печать, примерился к моей анкете, к месту без графы. Печать вернулась в коробочку, ставить её было некуда.

— Я присутствовал. — Он поднялся. — Заявитель, если потребуется, у меня всё записано, с подписями. Если у вас, — это Кругловой, — появится графа, приходите, я подпишу. Без графы не могу. Это форма.

Он обулся у порога носками от двери и ушёл. Круглова сидела над анкетой без подписи и не сводила глаз с хлебницы.

Дед сидел на лавке под черёмухой с авоськой у ног, а на меня, подошедшего с пустыми руками, поднял глаза так, будто я принёс.

Они ушли к четырём. Витёк дождался их на крыльце, свидетелем, которого не вызвали, потом нашёл у Толяна литр бензина за будущий разговор и уехал на коляске в Живино, раз

день всё равно пропал. Я сидел в холодной кухне с их анкетой в голове и к пяти не выдержал, пошёл к деду. От дедовой лавки видно мою калитку с наклейкой и всю Верхнюю до поворота.

— Сам теперь, а? — Дед подвинулся на лавке. — Сидели долго. Я считал. Четыре часа, по-дедовски, это две бутылки, а они у тебя без бутылки, сухие. Сухие четыре часа это, городской, не проверка, это свататься. Ты им чего обещал?

— Чай. Холодный.

— Ну, холодный они съели, они всё съедят, они не привередливые. — Он достал из авоськи то, что всегда, налил себе в стакан из кармана, второго стакана не было. — Теперь у них про тебя лист. Листа много не бывает, у них листа всегда ровно, а?

По Верхней снизу шёл человек.

Не по осевой, как ходили те двое, а по обочине, по траве, по краю, походкой человека, привыкшего ходить у стен. Третий. Кепка, куртка, обношенная до мягкости, бахилы, по траве они шуршали тише. Он шёл один, от моей калитки вниз, к машине. Пальцы на правой руке перебирали серую нить, два оборота, туда-сюда, в левой тлела сигарета, докуривать её он не собирался.

Поравнявшись с лавкой, он не повернул головы. Дед повернул.

— Опять вы. — Дед произнёс это в спину, негромко, по-соседски, без «здравствуй». — Бахилы те же, а?

Третий не остановился. Шаг у него не сбился, пальцы на нити не сбились. Через десять шагов он, не оборачиваясь, поднял свободную руку и сделал ею что-то короткое, то ли отмахнулся, то ли кивнул через плечо. Потом ушёл вниз, к сельпо, за поворот на Центральную.

Дед отпил.

Я ждал вторую часть байки, первая была оборвана на самом месте, а дед пил не торопясь, глядя на пустую Верхнюю. Продолжения не было.

— Ты их знаешь?

— Бахилы знаю. — Он поставил стакан на колено. — Бахилы, городской, они всегда одинаковые. Голубые. Рвутся на гравии. А? Это я знаю.

Он убрал стакан во внутренний карман, достал обратно, убедился в пустоте и убрал снова. По лицу было видно: про бахилы сказано всё, что будет сказано, сегодня, завтра и, похоже, вообще.

Я встал в десятом часу. Солнце ушло за озеро, над огородом поднялся пар, а в моём доме, я знал это отсюда, было так же холодно, как утром, холодно будет и дальше, пока те двое ночуют в коттедже на том берегу.

У калитки меня ждали.

Денис стоял снаружи, у столбика, у наклейки, без папки, без планшета, без прибора, с пустыми руками, он держал себя за локти, не зная, куда их деть. Бахилы на нём были дырявые, вечерние, в них он прошёл по селу весь день, а обратно к коттеджу не пошёл.

— Андрей Павлович. — Он начал, как всегда, с середины, фраза догоняла его с полдороги. — Я тут… вам, наверное, надо знать. Я не должен, но. Понимаете, когда приходит обращение, в нём указываются адреса. Объекты. В заявлении, по которому мы… в заявлении их два. Два адреса. Первый ваш, Верхняя, один. Второй…

Он замолчал и уставился на свои руки.

— Второй адрес. Ваш друг. Совхозная. Он там с самого начала, Андрей Павлович, он там стоял раньше, чем мы приехали, его не мы нашли. Его нам дали.

Из-за забора, из темноты между моей калиткой и дедовой черёмухой, голос без лица:

— Денис. Мы не комментируем.

Глава 3. Глаза

Евсей Кузьмич сидел в тамбуре на своём табурете в среду так же, как сидит в субботу, с журналом в клеёнке на коленях и карандашом на верёвочке. Баня за его спиной стояла холодная и тёмная, по-будничному, без пара.

Я пришёл к нему в девятом часу с пустыми руками, нарочно. Ночь я пролежал под свитером, думая про второй адрес, про «его нам дали», про то, что Витьку надо сказать. К утру додумался: скажу, но не сейчас. Сначала надо понять, кто дал. С этим я уснул, а проснулся с другой мыслью, попроще, о бане.

— Гражданин. — Евсей Кузьмич поднял голову, не удивившись. Он никогда не удивлялся, у него для удивления не было графы. — Среда. Пара нет, воды нет, каменка холодная, полок сухой, веники в тазу с субботы, и те сухие. По средам у меня учёт, по средам я никого не пускаю, даже тех, кто прописан. Вы прописаны, я помню. Это ничего не меняет.

— Я не париться, Евсей Кузьмич. Я договориться.

Он положил карандаш вдоль строки, указкой. Приготовился слушать. Слушал он по-своему, весь разом, не перебивая. Глаза его тем временем шли по мне сверху вниз, с головы до кроссовок, прикидывая, на какой полок.

— Мне нужна суббота. Своя. Не общая, когда всё село, когда черти на верхнем, Витёк у двери, Потап с мёдом, каждый со своим вопросом ко мне, а я сижу в простыне и отвечаю. Одна суббота, в которую я вхожу, парюсь и выхожу, и никто мне в парилке не рассказывает про козу. Двадцать девятого. Последняя в августе. Я прошу её себе.

Евсей Кузьмич взял карандаш обратно, послюнил, открыл журнал на последней странице и прочёл мне оттуда, тоном инструкции на проходной.

— Суббота, гражданин, общая. По форме. Баня топится по субботам с четырнадцати часов для всех, кто вошёл по форме, с хлебом-солью на тумбочку и росписью в журнале, и в этом порядке нет строки «своя». Есть строка «с сопровождающей», есть «без сопровождения», есть «прошло без росписи», и это всё, что у меня есть. Своя суббота это не баня, это, с позволения сказать, дача. Хотите свою, напишите заявление. На имя кого, не знаю. Я восемьдесят лет здесь сижу, и заявлений на свою субботу при мне не было, значит, и формы нет, а без формы я заявление не приму, мне его класть некуда.

— Заявления не будет, Евсей Кузьмич.

— Тогда и субботы не будет.

Я встал с лавки у стены, прошёл мимо него в предбанник, в холод, в запах вчерашнего веника и мокрой доски, дальше, к каменке. Дров у печи лежало на одну топку, на субботу, не больше. Берёза вперемешку с осиной, половина сырая. Я взял полено, принёс в тамбур и положил ему на тумбочку, на место хлеба-соли.

— Сырое. Осина. Такие у вас в субботу шипят, а не горят, я слышал в июле, вы сами ругались на пар, что он не пар, а туман. К субботе я привезу колотых. Берёзовых, сухих, прошлогодних, на две топки, не на одну. Расколю сам, сложу под навесом сам, вам останется подкинуть. Это не заявление. Это дрова.

Евсей Кузьмич разглядывал полено на тумбочке долго, хлеб-соль не по форме. Потом взял его, взвесил в руке, понюхал с торца и положил обратно.

— Сырое, — согласился он. — Сырое, гражданин, это правда, у меня с дровами беда, дрова по субботам приносит кто придёт, а приходят с тем, что есть, а есть у всех осина. Берёзовых мне с мая никто не носил. — Он открыл журнал, слюнил карандаш и написал на последней странице одну строку. — Двадцать девятого. Твоя. С четырнадцати до того, как остынет. Если эти не придут. Эти, в бахилах, с папкой, по средам ко мне не ходят, но они и по субботам

могут, у них графы нет, они ходят, когда хотят. Придут, суббота общая, по форме. Не придут, твоя. Дрова к пятнице. На две топки. Я записал.

Он повернул журнал ко мне. В последней строке стояло: «29. Сухие. Две топки. Гражданин Л.». Ни «своя», ни «суббота», ничего, за что можно зацепиться регламентом. Дрова и гражданин.

Карандаш он протянул мне сам. В графе, которую он показал, появилась моя подпись. «Спасибо» не прозвучало. Он не ждал, у него в журнале для этого тоже не было строки.

Чурбак за сараем остался от прадеда, отполированный до блеска поколениями топоров. На нём я и колол, с одиннадцати.

Берёза лежала у сарая с весны. Толян в июне привёз её «за будущее», а будущее, по его словам, ещё не наступило, так что дрова были ничьи, то есть мои. На втором полене свитер пришлось снять. Он повис на штакетнике, колол я в майке, в августе. Мёрз всё равно, только теперь мёрз изнутри, а снаружи потел, это было хуже.

Толян появился у калитки, когда поленница дошла мне до колена. Он не вошёл, он никогда не входит. Стоял снаружи, в своём «адидасе», задрав голову выше меня, на конёк крыши.

— Начальник. — Он кивнул подбородком на антенну. — Ты её не трогал?

— Нет. Я на крышу с июля не лазил, Толян, мне после твоей антенны там делать нечего, ты сам сказал, что там нечего делать.

— А кто трогал? Кто-то трогал. У неё вид трогатый.

Я положил топор на чурбак и подошёл к калитке. Антенна стояла на коньке, привязанная проволокой к трубе, в ней ничего не изменилось, кроме одного: вчера на неё полчаса смотрел человек с нитью на пальце.

— Никто не трогал. На неё смотрели. Вчера. Третий, который в машине. Стоял у калитки с сигаретой и смотрел полчаса, не отрываясь.

— Смотрели. — Толян переложил семечки из кулака в кулак. — Смотрели, начальник, это хуже, чем трогали. Трогал бы, я б поправил. А смотрели, тут поправлять нечего, тут она теперь сама. Я ж тебе говорил: не трогай, оно само. Так оно и само. Ты сегодня палку проверял?

— С утра не проверял.

— Проверь. — Он не сдвинулся с места, глаза его так и были на крыше. — Конёк у тебя просел на ладонь с той стороны, где труба. Это не от антенны, это от зимы ещё, там стропило треснуло, я весной видел. Ты не лезь. Оно пока держится. Если эти ещё раз на крышу посмотрят, может не удержаться. Серый их посчитал, начальник, по-братски, из интереса: тридцать два адреса за два дня, к пятнице они кончатся. Потом что? Потом по второму кругу. У таких всегда по второму кругу, при прежнем тоже по второму ходили, а второй круг это уже не смотреть, это трогать. Я бы на твоём месте дрова колол. Ты вон и колешь.

Он ушёл вниз по Верхней, не торопясь, сплюнул шелуху в траву у дедовой черёмухи и скрылся за поворотом. Я пошёл в сени за телефоном.

Палка была. Одна, короткая, в левом верхнем углу, а под ней ждали четыре сообщения из одного чата. Чат назывался «Отдел», с большой буквы, в нём было одиннадцать человек, десять и я, меня не удалили, забыли или не стали. С июля он лежал неоткрытым.

«Ладыгин, ты живой?»

«Созвон сегодня в десять вечера, не в офисе, из дома, у кого где. У нас проводы, Марина уходит, последний день в пятницу, прощаемся».

«Ты ж не придёшь, так хоть в экране покажись».

«Марина спрашивала про тебя. Сказала, если не выйдешь на связь, она обидится. Это цитата».

Марина была та, что сидела через стол. Пила чай с лимоном, первой узнала, что меня сокращают, а мне ничего не сказала, из деликатности. Две недели я на неё за это злился, потом

перестал, она принесла торт. Теперь уходила она. Куда, не писали. В десять вечера из дома, у кого где. У меня «где» было холодное, с одной палкой в сенях. Я написал «буду». Палка унесла это и больше ничего не принесла.

До десяти оставалось восемь часов. Я вернулся к чурбаку, колол и за дровами думал, в чём буду. Думать, в чём буду на созвоне, где все видят только лицо, было глупо, я всё равно думал. У них август, у них жара, они будут в футболках, с окнами нараспашку, кто-то с балкона. Я буду в свитере. Снять его к десяти не получится, к десяти я мёрзну так, что зубы стучат. Свитер это единственное, что здесь греет, пока хозяйка не топит.

Хозяйки не было третий день.

Я привык к ней так, как привыкают к печке: не замечаешь, пока тепло. Третий день в доме было пусто по-настоящему, не тихо, а пусто, ходики шли громче положенного, полотенце на столе лежало на том же месте, сложенное, пустое. Хлебницу за три дня не трогал никто, кроме Кругловой. Я ничего не мог с этим сделать. Я мог колоть дрова. Это я и делал.

К шести всё, что лежало у сарая, было расколото. Я перевёз дрова на тачке к бане в четыре ходки, сложил под навесом, на две топки, с запасом, по длине, корой вверх, как складывал прадед, судя по остаткам его поленницы. Евсей Кузьмич вышел на крыльцо, оглядел поленницу от края до края, взял верхнее полено, взвесил, понюхал с торца, как утром осину, и положил обратно корой вверх, поправив по моему ряду.

— Сухие. — Он вытер ладонь о фартук. — Берёза. Прошлогодняя, я по коре вижу, прошлогоднюю от этой отличаю, у меня работа такая. Сложено правильно, гражданин, корой вверх, это редко кто знает, вас кто учил? Не отвечайте, не надо, я не спрашиваю, у меня на это графы нет. Две топки. Записано. Двадцать девятого, если эти не придут.

Он ушёл обратно к журналу, не оглядываясь. Это было больше, чем «спасибо». У него это и было «спасибо», по форме.

Банка с солью переехала из кухни в сени, к палке, а к банке я прислонил телефон.

Банка была та, с запиской прадеда, «Соль — тут», химическим карандашом по жести. В кухне она стояла на своём месте пятьдесят лет, а теперь стояла в сенях на шкафчике для обуви, с враньём на жести. Соль была тут, но «тут» было не то. Хозяйка не возразила. Возражать было некому.

Свет остался выключенным. В сенях лампочка одна, под потолком, без абажура, от неё на экране будет блик, а на лице будет то, что бывает на лице от такого света, с таким лицом в отдел не выходят. В десять было темно. В августе в десять темно по-настоящему, в июне здесь в десять читали на крыльце. Из кухни в сени шёл серый свет от окна, с озера, его хватало, чтобы видеть экран и не видеть себя.

Созвон начался без меня, я подключился на второй минуте, с третьей попытки. Экран разделился на квадраты, восемь, в каждом сидел человек в своей кухне или на своём балконе, с окнами нараспашку, в футболках, у одного за спиной шёл телевизор. Девятый квадрат был мой, чёрный. В нём не было ничего, кроме надписи с моей фамилией.

— О. Ладыгин. — Голос был женский, не Маринин, другой, с того конца стола. — Живой. Мы ставки делали, выйдет или нет. Я проиграла, между прочим, я на тебя не ставила, ты два месяца молчишь, я думала, ты там уже в лесу.

— Я в лесу. — Телефон съехал по банке, я поправил. — Рядом. Через дорогу озеро, за огородом лес, между ними я. Привет, отдел. Марина где?

— Марина режет торт. У неё камера на торт. Марина, покажи Ладыгину торт.

Квадрат в углу повернулся. На экране появился торт, с кремом, с цифрой из мастики, рука с ножом, а рука была Маринина, по кольцу. Торт был точно такой же, с каким она пришла ко мне в мае, в день, когда я перестал на неё злиться.

— Ладыгин, привет. — Маринин голос шёл из-за торта. — Ты меня не видишь, у меня тут крем. Я ухожу в пятницу, ты знаешь. Я тебе напишу, куда, когда сама пойму, куда. Ты где вообще? Нет, я серьёзно, тебе звонят, ты не берёшь, тебе пишут, ты в сети раз в месяц. Ты там живёшь или прячешься?

— Живу. — Я подумал и добавил: — Связь плохая. Одна палка. Я сейчас сижу в сенях, в кухне её нет вообще.

— В сенях. — Это снова та, с того конца стола. — Он сидит в сенях, слышите, в сенях, и у него палка. Ладыгин, тебя не видно. У тебя камера есть? Включи, мы хотим на тебя посмотреть, мы на тебя два месяца не смотрели, мы соскучились, Марина особенно, она торт режет и плачет.

— Я не плачу, это лук. — Марина за тортом стукнула ножом по тарелке.

Камера включилась с первого раза. В моём квадрате стало серо, чуть светлее чёрного, в сером проступило лицо, моё, в свитере, с горлом под подбородок, против серого окна. Квадрат был маленький, себя в нём я толком не разглядел, да и не разглядывал. Я глядел на торт.

— Он в свитере. — Пауза, в восьми квадратах разом. — Ладыгин, ты в свитере? В августе? У нас тридцать один, мы на балконах сидим, у Паши кондиционер сдох, Паша в трусах, Паша, не надо, не показывай. А ты в свитере. В шерстяном. С горлом.

— Здесь холодно. — Это была правда, правду я произнёс спокойно. — С озера тянет. Дом старый, печь не топится. Я мёрзну, отдел. У вас жара, у меня свитер, у каждого своё.

— Ты похудел. — Марина отодвинула торт, в квадрате появилось лицо, то самое, с лимоном, только без чая. Она прищурилась в экран, на мелкий шрифт. — Я по горлу вижу, свитер тебе велик, он тебе в июне не был бы велик. Ты там ешь?

— Ем. Пироги. Соседка печёт.

— Соседка. — Восемь квадратов оживились. — Соседка печёт. Так, Ладыгин, с этого места подробнее, какая соседка, сколько лет соседке, почему мы узнаём про соседку из созвона, а не из чата. Паша, запиши, у Ладыгина соседка. Паша, ты вообще запиши всё, у нас Марина уходит, на её место никого не берут, место сокращают, через месяц нас тут будет шестеро, а у Ладыгина в лесу соседка с пирогами. Я, может, тоже хочу в лес.

— Паша, не пиши. Паша, лучше скажи, как там мой стол. Кто за ним сидит.

— Никто не сидит. — Паша появился в квадрате, в футболке, слава богу, с пивом. — За ним стоит коробка с бумагой для принтера. А работу твою делает бот. Ладыгин, ты не поверишь. Твой бот стихи пишет. Ему в анкету загружаешь человека, а он на выходе выдаёт четверостишие, с рифмой, про человека. Мы уже месяц не знаем, это поломка или так задумано, нам прислали обновление, и он стал писать стихи. Марина про себя попросила, он ей написал, она плакала. От стихов плакала, не от лука.

— Он написал «уходит, как уходит лето». — Марина подняла нож, посмотрела на него и положила. — Я не от стихов. Я от того, что он правильно написал. Ладыгин, ты в пятницу не приедешь? На проводы. Я знаю, что нет, я просто спрашиваю, чтобы ты сказал «нет» сам, а не я за тебя.

— Нет. У меня в пятницу отчёт.

— Какой отчёт? Ты же в лесу.

— В лесу тоже отчёты. — Я подвинул телефон на банке, он сползал. — Тут ко мне ходят люди с папкой, Марин, они про меня пишут и к пятнице сдают. Я, получается, тоже к пятнице. Только не пишу, а сижу. Сидеть к сроку у меня всегда лучше получалось.

— Это он шутит, — объяснила та, с того конца стола, остальным. — Он всегда так шутил, с таким лицом, вы забыли. Ладыгин, мы по этому лицу скучали. Паша, не по пиву, по лицу.

Я засмеялся. Не вслух, тихо, в свитер. Это был первый смех за три дня, с понедельника, и смеялся я не над ботом. Моё место занял бот, а бот начал писать стихи. Значит, и ему там было не по себе. Это мне было знакомо.

Картинка дрогнула.

Сначала у них: восемь квадратов замерли, лица застыли на полуслове, у Паши пиво остановилось на полпути. Потом поехал звук, стал глухим, с эхом, его будто тянули по дну. Потом экран собрал себя обратно, рывком, восемь квадратов снова задвигались, а мой, девятый, в углу, остался чёрным.

Я посмотрел на свой квадрат.

Он был чёрный, не серый, камера не держала серый свет при одной палке, а в чёрном, посередине, где должно было быть лицо, стояли две точки. Два отсвета, жёлтых, круглых, на том расстоянии друг от друга, на каком бывают глаза. Они не двигались. Я не двигался тоже.

— Ладыгин. — Голос Марины, медленно. — У тебя что с глазами?

— С глазами.

— У тебя глаза светятся. Два пятна. Как у кошки, когда её в темноте фотографируешь. Это фильтр? Ты фильтр включил? Паша, у него фильтр или у меня?

— У меня тоже видно. — Паша придвинулся к своей камере, нос стал больше. — Это не фильтр, Марин, у него темно, а глаза светятся. Ладыгин, ты чего, это приложение? Какое? Скинь.

Я протянул руку назад, к стене, к выключателю, нашёл его на ощупь на том месте, где он был всегда. Нажал.

Лампочка под потолком вспыхнула, жёлтая, в сенях стало видно шкафчик с обувью, банку с солью, записку на ней, мою руку на выключателе. Мой квадрат залило светом, в нём появилось лицо, обычное, в свитере, против лампочки, с тенями под глазами от верхнего света. Отсветов не было. Глаза были как глаза.

— Всё, пропало. — Марина откинулась от экрана. — Включил свет, пропало. Ну точно приложение. Ладыгин, ты…

Экран дёрнулся, рассыпался на квадратики, собрался, снова рассыпался. Звук ушёл. Восемь лиц застыли надолго, Паша с пивом, Марина с ножом в углу над тортом. В верхнем углу палка мигнула и погасла.

На тёмном экране появилось окошко. Оператор сообщал, что мне рады, что соединение прервано и что у меня остаётся пять минут бесплатно, если успею до конца месяца.

Я сидел в сенях под лампочкой с телефоном в руке. Палки не было. Перезвонить было нельзя, даже если бы я хотел, а я, честно говоря, не хотел. Увидеть это снова им было незачем, а включать свет второй раз, оправдываясь приложением, незачем было мне. Пусть думают, что приложение. Пусть думают, что я живу в лесу, в свитере, с соседкой, пусть ставят на меня ставки.

Лампочка в сенях осталась гореть. Банку с солью я перенёс обратно в кухню, на её место, к записке, записка перестала врать.

На дорожке от калитки к крыльцу, в самой темноте, пищало.

Я вышел на крыльцо в одиннадцатом часу с кружкой холодной воды вместо чая, сел на верхнюю ступеньку под свет из сеней и услышал писк до того, как понял, откуда. Тонкий, прерывистый, на одной ноте, с промежутками, будильник, который не выключили в соседней квартире. Он шёл от калитки.

Денис стоял на дорожке, в трёх шагах от крыльца, с прибором в обеих руках. Прибор пищал.

Он пришёл один. Без папки, без Кругловой, в куртке нараспашку, в бахилах, опять дырявых. Серую коробку он держал перед грудью, снизу, под дно. Окошко прибора светилось зелёным, стрелка в нём стояла не на нуле. Это было видно с крыльца, через три шага.

— Днём ноль. — Он начал с середины, не здороваясь, так не здороваются с теми, с кем давно говорят. — Понимаете, днём он у вас на кухне показал ноль, везде ноль, я к печи под-

носил, к ходикам, ноль, а это неправильно, Андрей Павлович, у вас не может быть ноль, у вас хлебница сама ходит. Я подумал, может, он днём не берёт. Прибор. Может, ему темнота нужна. Я не должен был приходить, я знаю, Инна Валерьевна спит, Степан Игнатьевич курит у машины, они не знают, что я тут. Я просто хотел проверить, берёт или нет. Ночью.

— Берёт?

— Берёт. — Он поднял прибор к лицу, окошко осветило очки снизу. — Полтора. Стрелка на полутора. Это не много, но это не ноль, это уже данные, Андрей Павлович, первые в этом доме, я их три дня жду. И он…

Он замолчал. Прибор пискнул, пауза, ещё раз, пауза. Промежутки между писками стали короче, когда Денис сделал шаг ко мне. Он сделал ещё шаг, писк участился. Он остановился у нижней ступеньки, в двух шагах, стрелка в зелёном окошке стояла уже не на полутора.

— Он на вас. — Денис выговорил это тихо. — Не на дом. На вас.

Я сидел под светом из сеней. Свет шёл сзади, из-за спины, на дорожку, на Дениса, на его прибор, а на лице у меня его не было, лицо было в тени. Денис поднял голову и посмотрел мне в лицо.

Он смотрел долго. Потом снял очки, протёр их полой куртки, надел и прищурился, по-марининому, на мелкий шрифт.

— Вы не могли бы… — Он показал пальцем на свои глаза, потом на мои. — Ещё раз. Просто посмотрите на меня. Вот так. Не двигайтесь.

Я посмотрел на него.

Он протёр очки снова. Надел. Снова прищурился. Прибор в его руках пищал уже почти без промежутков. Денис опустил его, выключил на ощупь, писк оборвался, стало слышно озеро.

— Нет. — Он выдохнул. — Ничего. Мне показалось. Это от прибора, он зелёный, он даёт блик, на очках даёт, и на… нет, ничего. Полевые данные, Андрей Павлович. Стрелка. Полтора у калитки, четыре у крыльца. Это я зафиксирую. Остальное я не должен. Остальное мне показалось.

Он кивнул, себе, не мне, повернулся и пошёл к калитке, быстро, по дорожке, с выключенным прибором под мышкой. Калитка на верёвочной петле закрылась за ним тихо, по-воровски, так закрывают за собой люди, которым не полагалось приходить.

Я сидел и допивал холодную воду. Вода была из ведра в сенях, со вкусом жести, пил я её медленно, чтобы занять руки. Два раза за один вечер мне смотрели в лицо и два раза щурились, Марина в экран, Денис через три шага, протирая очки. Приложения у меня не было. Прибора у меня не было. У меня был свитер, холодный дом и то, что видели они оба и чего не видел я. Себя в тёмном квадрате я разглядел на секунду, две точки. Этого хватило, чтобы включить свет. Включать свет на крыльце было негде. Крыльцо освещалось из сеней, сзади, лицо оставалось в тени. Денис это видел. Я сидел и не знал, что у меня на лице.

Коляска затарахтела снизу, с Верхней, в двенадцатом часу, с перебоями, на последних парах толянова бензина. Витёк доехал до калитки, заглушил, вкатил коляску во двор руками, поставил у крыльца на её место и сел на ступеньку рядом со мной, с термосом под мышкой, с пакетом из «Пятёрочки» в руке. От него пахло бензином и чужими шкафами.

— Андрюха. — Он открутил крышку, налил, протянул мне. — Я три шкафа отвёз. Три. И холодильник. Дачникам, на Путеец, они говорят, Витёк, ты где был два дня, мы думали, ты уехал, а я говорю, ко мне приходили, они говорят, кто, я говорю, с папкой, они говорят, а, эти, они и у нас были, анкеты одинаковые, всем одинаковые, и дачникам, и всем. Я заработал, Андрюха. На бензин заработал и на термос. Я на кругу сейчас проехал, третий у машины стоит, курит, он на меня не посмотрел, он на коляску посмотрел, на сиденье, как в понедельник, я чуть газ не бросил. Мать пирожков дала, вот, в пакете, с капустой, она сказала, тому, который в лодке, она тебя так зовёт, она тебя не видела, а зовёт.

Он протянул пакет. Пакет был тёплый, настоящий, единственное тёплое в этом дворе за три дня. Я держал его на коленях, не открывая, чтобы подольше.

Витёк отпил из крышки сам, покрутил термос в руках, посмотрел на пакет у меня на коленях, на дорожку, на калитку, куда угодно, только не на меня.

— Андрюха, нормально, чё. Только у тебя глаза… ну, как у Полкана в фарах, когда он на дороге стоит, а ПАЗ едет. Жёлтые. Вот такие. Я давно хотел сказать, с воскресенья, я на воде ещё заметил, когда ты в лодке сидел, я думал, это от воды. Я тебе ничего не говорил, я думал, пройдёт. Оно не прошло. Ты это. Нормально. Я просто сказать хотел, чтоб ты знал, что я знаю, а то неудобно.

Глава 4. Всё про всех

Серый сидел на спинке скамейки у сельпо, ногами на сиденье, с коробком за ухом, с видом человека, которому дорога должна.

Толян сидел ниже, на корточках, у стены, под чистым местом, где раньше писали мелом. Мелкий стоял. Мелкий никогда не сидел больше минуты, он переминался у крыльца, руки в карманах, руки из карманов, в карманах при каждом движении гремело.

Я шёл за хлебом. В стекле сельпо, в витрине с прошлогодней рекламой пельменей, меня не было, стекло отражало только улицу, в девять утра оно ничего не отражает. Фраза Витька про фары сидела во мне с ночи. С ней я проснулся, с ней умылся, с ней дошёл до сельпо, в стекле я поискал глаза. Глаз не было. Была улица, берёза, Серый на спинке скамейки.

— Начальник. — Толян не поднял головы. — Они вчера к Клавдии ходили. С прибором. Без тебя. Клавдия дома была, открыла, они ходили по дому с коробкой, коробка у них у печки запищала, а Клавдия говорит: это у меня чайник. А у неё чайник электрический, он не пищит, он щёлкает. Они записали. Мы с пацанами смотрим: они теперь по второму кругу, с коробкой. Я тебе говорил.

— Говорил.

Я остановился у крыльца. Мелкий замер с руками в карманах, Серый на спинке перестал глядеть на дорогу, и даже Толян, не поднимая головы, перестал лузгать, а это у него означало внимание.

Ночью, после Пыжова с прибором и Витька с пирожками, я лежал без сна, думал и додумался до одного. Эти считают. Им всё равно, что считать, лишь бы столбик сходился. Толян в понедельник спрашивал, продавать или как. Я тогда ответил: пока не продавать, цены нет. Теперь цена была.

Я наклонился к Толяну, к уху, к «адидасу». Говорил я тихо, чтобы Мелкий не слышал. Мелкий всё равно услышал, уши у него как у Полкана.

— Продавай. Список Лао. Тот, что у него сходится до одного человека. Реестр для района, пенсионный, где всем по сто лет. Пусть считают.

Толян сплюнул шелуху. Не в мою сторону, в свою, в горку у стены, помолчал столько, сколько нужно, чтобы цена дошла, потом поднялся с корточек. Это случалось редко.

— Значит, так. Продаём честно, всё про всех, цену не ломим, бумагу даём настоящую, с печатью, без подвоха, и всё. Серый, за списком. Мелкий, стой здесь и молчи, у тебя не получится, но стой.

Серый спрыгнул со спинки, коробок переехал из-за уха в кулак. К конторе ТОС он пошёл быстрым шагом, походкой человека, у которого в окошке свой. Своим человеком в окошке был сам Лао Чжан, других там не сидело.

Мелкий не выдержал через полминуты.

— А чё, ну типа, а они заплатят? Они с папкой, с папкой платят, это Толян сказал, а я говорю: а если они не деньгами, а если они бумагой, они ж бумажные, Толян, они нам бумагу дадут, а мы ей чё, мы ей крышу крыть не будем, Серый говорит, у них вся сила в бумаге, а я говорю, в бумаге сила это ну типа как в…

— Мелкий.

— Молчу. Я ж молчу. Я только про силу.

Они пришли в половине десятого, вдвоём, по осевой. Круглова впереди с папкой, Денис за ней с планшетом, без прибора, прибор ночью сделал своё и отдыхал в машине. Бахилы на обоих были утренние, целые. В сельпо они шли за кефиром, четверг, хлебовозка, кефир свежий, это знало всё село, за три дня узнали и они.

У крыльца Круглова остановилась и оглядела нас троих по старшинству: Толяна, меня, Мелкого. Мелкого она оглядела дольше, у него гремело в карманах. Поверх неё, как и во вторник, стояла вторая она, с тем же бантом, и у второй сегодня подбородок не дрожал, а был сжат, по-другому, по-четверговому: до пятницы оставался день, отчёт лежал у неё в папке недописанным, и всё, что она сегодня купит, увидит или зафиксирует, пойдёт в этот отчёт строкой. Мы трое у крыльца были для неё не людьми и не тем, что она искала, мы были строками, которых ещё нет.

— Андрей Павлович, доброе утро. Молодые люди. — Папку она держала перед грудью, на двоих. — Нам сообщили, что у вас по данному адресу, я имею в виду у магазина, можно получить сведения о жителях. За вознаграждение. Это не упрёк, это рабочая гипотеза, у нас есть статья расходов на информаторов, в рамках регламента, с оформлением по ведомости. Я правильно понимаю, что обратились мы по адресу?

— По адресу. — Толян сел обратно на корточки. — Только не сведения. У нас сведений нет, у нас товар. Всё про всех. Серый принесёт.

Серый принёс. Он шёл от конторы с серым листом, держа его за уголок, по-магазинному, как держат неоплаченное. Остановился он на нижней ступени, чтобы быть выше Кругловой на ступень.

— Значит, так, первое. — Он показал лист, не отдавая. — Реестр жителей Пропадина, пенсионный, для соцзащиты, составлен ТОСом, председатель Лао Чжан, печать его, вот, по кругу, с колоском. Чисто по-братски, это документ. Второе. Там все, кто получает, и кто сколько лет получает, и кому сколько лет, это главное, вы ж по годам ходите, я видел, у вас в столбике год справа. Третье, это я быстро: там, где возраст, там, не удивляйтесь, у нас село долгожителей, соцзащита гордится, нам из района грамоту давали, она у Лао в окошке висит. Чисто по-братски. Цена двести. За всё про всех.

— Двести чего? — Круглова не взяла листа, её занимала печать.

— Ну типа… — Мелкий не удержался. — Это как две сотки. Если в квадратных метрах. У нас всё в сотках, у нас гектара нет.

Круглова не поняла. Она раскрыла папку, достала бланк, разлинованный, с шапкой, положила на перила крыльца и приготовила ручку.

— Ведомость. Вознаграждение информатору выдаётся под подпись, с указанием фамилии, инициалов и суммы прописью. Кто из вас подписывает?

— Подпись не наш отдел. — Серый не сдвинулся с места. — У нас подписи нет. У нас расписка не практикуется, у нас слово. Деньги в руки, товар в руки, и всё. Галина свидетель.

Галина вышла на крыльцо. Она вышла на слово «свидетель», как выходят на своё имя, с чеком в руке, уже пробитым, терминал внутри дожёвывал ленту. Прошла мимо меня, мимо Толяна, к перилам, положила чек поверх ведомости, посередине, щёлкнула по нему костяшкой.

— У нас так. Чек есть, подписи нет. Кефир двести, список двести, за список чек, за кефир чек, мне всё равно, за что пробивать, терминал не читает, он считает. Кефир брать будете? Четверг. Свежий. Тимофеевна, не стой за спиной, я тебя чувствую, ты всегда дышишь, когда чужие.

Круглова смотрела на чек. Чек лежал на её ведомости, на графе «подпись», закрывая графу целиком. Во второй её, поверх первой, подбородок дрогнул. Боялась она сейчас не нас. Отчёта. В отчёте будет статья расходов и чек из сельпо за «список», кто-то в кабинете в конце августа возьмёт этот чек двумя пальцами.

— Коллега, сфотографируйте чек.

Денис сфотографировал. Круглова отсчитала двести, положила на перила рядом с чеком, Серый взял деньги не считая и отдал лист. У них это и было так: деньги в руки, товар в руки, и всё.

— Ещё один вопрос. — Круглова убрала ведомость с чеком в папку. — В обращении, по которому мы работаем, упомянуты бирки. Пластиковые, с номерами, на дверях в сараях, на коровнике. Кто их изготавливает? Это не обвинение, это уточнение.

Серый посмотрел на Толяна. Толян на Серого не посмотрел, он глядел на угол сельпо, где гнил венец.

— Первую нам принесли. — Серый говорил это уже не вверх, а в сторону, в берёзу. — Кто принёс, не наш отдел. Про бирки мы не торгуем. Кефир берите, свежий.

Они взяли кефир. Круглова ушла по осевой с листом Лао Чжана в папке, Денис за ней с бутылкой, а на крыльце остался чек, второй, за кефир. Галина забрала его обратно, для отчётности, она тоже вела свою.

— Тимофеевна, выходи, ушли. — Галина не обернулась, она знала, где Тимофеевна, по дыханию. — Выходи и не прижимай, я тебе сколько раз говорила, хлеб от этого не делается твоим, он и так твой, за него плачено. Чего они купили? Список купили. Серёжа им список продал, за двести, с печатью, нашей, из конторы. Теперь они по списку пойдут. По списку, Тимофеевна, ты у нас кто? Ты у нас девяносто восемь. Готовься. К тебе придут и спросят, как тебе удалось. Скажешь: кефир. Четверг, свежий, двести, я свидетель.

Тимофеевна вышла с двумя буханками, прижатыми к груди, как во вторник. На «девяносто восемь» она не отозвалась никак, только перехватила буханки выше. По бумаге ей было девяносто восемь, по лицу семьдесят, по походке пятьдесят, с хлебом она ходила быстрее меня. Пока она не свернула к колодцу, я глядел ей вслед с одной мыслью: бумага в этом селе врёт одинаково в обе стороны, в ту, где дед без года, и в ту, где Тимофеевне девяносто восемь, а эти двое с папкой уйдут отсюда с тем же, с чем пришли, с бумагой, которая сходится.

Я взял хлеб. Толян на корточках у стены проводил двоих до поворота, повернул голову ко мне и произнёс одно слово. Слово было «венец». Венец у сельпо с угла, гнилой, он мне про него говорил в понедельник, между делом. Я кивнул. Я тоже помнил.

Петух сидел на берёзе у Полиной калитки, на нижнем суку, лицом к дому. Это был тот самый, с хвостом на сторону, что повадился ко мне на Верхнюю через всё село. Он спустил голову набок, оглядел меня одним глазом, по-куриному, на всё, чего не едят, и так остался сидеть. Домой его, похоже, вернули, а летать он не разучился.

Я пришёл к Поле первым. Список Лао Чжана я читал в июле, в окошке, вверх ногами, когда он показывал мне его как образец правильно заполненной графы. Я помнил, кто в нём стоит с годами, в которые не верит никто, кроме соцзащиты. Поля стояла. Пелагея Прокловна Ряпушкина, Нижний конец, за сельпо, с таким годом, что ей выходило сто четыре. Эти пойдут по списку сверху вниз, Поля у них будет первой из долгожителей. Они постучат к ней с папкой, в папке год, спросят, сколько ей лет. Я хотел быть там раньше.

Поля открыла сама, на стук, в той кофте, в какой выходит к курам, увидела меня одного, без папки, не обрадовалась, но и дверь не закрыла.

— Смотритель. — Она вытерла руки о кофту. — Я тебя не звала. Петух у тебя, что ли, опять? Нет, вон он. Тогда что? Погреб? В погребе тихо, с июня тихо, ты сам чинил. Проходи, раз пришёл, у меня чай, у меня, не как у тебя, горячий, у меня печка своя, никто не командует.

Чай у неё был горячий, по-настоящему, с дымом, с травой, которую она не называла, в стакане с подстаканником. Я держал стакан двумя руками, грея пальцы, первый горячий стакан за четыре дня.

Поля села напротив, у печки, с лицом человека, который знает, что гость пришёл не просто так.

— К вам придут. — Я поставил стакан. — Сегодня. Те двое, с папкой. У них теперь список, из конторы, пенсионный, в котором годы. По этому списку вы, Пелагея Прокловна,

долгожитель. Самая старшая в селе после деда, а дед в списке без года. Они придут и будут спрашивать, сколько вам лет.

Поля не удивилась. Она встала, подошла к печке, подняла с лежанки подушку, достала из-под подушки то, что там лежало. Положила передо мной на клеёнку.

Конверт. Жёлтый, казённый, с печатью в углу, с гербом района, надорванный с короткого края, рывком, по-страшному. Из конверта торчал лист, цветной, с рамочкой.

— Прочти. — Она села обратно. — Я прочла, я десять раз прочла, я грамотная, я до пятьдесят третьего в школе училась. Прочти вслух, я хочу услышать, как это звучит чужим голосом, может, чужим голосом оно не так.

На листе был герб, под гербом цветы, под цветами крупно «С юбилеем!», дальше помельче. Я прочёл вслух, как просили.

— «Уважаемая Пелагея Прокловна! Администрация района сердечно поздравляет вас со стопятилетием. Ваш жизненный путь является примером для молодого поколения. В целях оценки условий проживания и оказания адресной социальной поддержки в ближайшее время вас посетит представитель отдела социальной защиты. Желаем крепкого здоровья и долгих лет».

— Долгих. — Поля повторила слово, попробовала его. — Мне и так долгих, по их бумаге. Сто пять. Я когда прочла, я села, вот тут села, где ты сидишь, и сидела до вечера. Сто пять, смотритель. Это откуда? Это они Николая Лукича года ко мне приписали? Он в сорок шестом родился, Николай, мой, он в семьдесят пятом в погреб полез, ты знаешь, а года его куда делись, года его в бумагу пошли, к моим, в сумму. Я считала. Не сходится. Я и мамины считала, не сходится, у меня мама до девяноста дожила, я к своим прибавила, всё равно не сто пять. Я не знаю, откуда сто пять. Я знаю, что написано.

Она замолчала, глядя на конверт. Руки она сложила на коленях, одну на другую, верхняя держала нижнюю.

— Ты знаешь, что такое «представитель посетит в целях оценки условий проживания»? Я знаю. У Клавки сватью так посетили, в Заречье, в прошлом году. Пришли двое, с папкой, посмотрели, что она одна живёт, что печка, что вода из колодца, что погреб, и записали: условия не соответствуют. И увезли. В Краснобойск, в дом, там дом есть такой, для тех, кому долгих лет. Она оттуда два письма написала, Клавке, одно в марте, одно в апреле, а в мае не написала, в июне не написала, Клавка туда не ездила, туда ПАЗ не ходит. Вот тебе и представитель. Вот тебе и адресная поддержка. Я это письмо под кофтой с июля ношу. Я его никому не показывала. Тебе показала, раз ты пришёл и сказал, что они сегодня придут. Это они и есть? Представитель?

— Нет. — Я положил лист на конверт. — Это другие. Эти не из соцзащиты, у них свой список, им всё равно, сколько вам лет, им важно, чтобы год в папке сошёлся с годом в бумаге. Сойдётся, они поставят галочку и уйдут. Они никого не увозят, Пелагея Прокловна. Они считают.

— А те?

— Те не приехали. С июля не приехали, значит, не торопятся. У них таких писем на район тысяча, они по ним ходят до Нового года.

Поля смотрела на меня долго. Я видел её, а поверх неё вторую, с теми же руками на коленях, только у второй руки дрожали. Дрожали не от этих двоих, а от дома в Краснобойске, куда не ходит ПАЗ. Страх был настоящий, не бумажный, бумажный я бы не увидел.

— Это по твоей части? — спросила она наконец. — Смотритель. По твоей части или нет? Я в воскресенье про петуха спрашивала, ты сказал, нет. Я спрашиваю про письмо.

— По моей.

Это вылетело до того, как я успел подумать, чем, собственно, могу помочь с письмом из района. Дальше думать было незачем. По моей, и всё. Поля кивнула, забрала конверт, сложила и сунула обратно под подушку, а потом посмотрела на люк погреба, у печки, в полу, с кольцом.

— Раз по твоей. Слазь, посмотри. Я тебе говорю, тихо, а ты посмотри. Ты в июне лазил, я тебе верю, а им я не верю. Они придут, они спросят про погреб, я им скажу: смотритель смотрел сегодня. Это весомее.

Я слез. Погреб у Поли был тот же, что в июле, с лестницей в семь ступеней, с полками, с банками, с запахом земли и картошки, а в дальнем углу, там, где в июле была прореха, стояла стена. Земляная, ровная, сухая. Я приложил ладонь, ладонь осталась сухой. Тихо было по-настоящему, тише, чем в моём доме, в моём доме хотя бы ходики. Минуту я постоял для весомости, с ладонью на стене, прислушиваясь к тому, чего там не было, потом поднялся.

— Тихо.

— Я ж говорю. — Поля закрыла люк ногой. — Теперь можно и этих.

Постучали в половине двенадцатого. Костяшкой, аккуратно, по-кругловски. Поля пошла открывать сама, я остался за столом с пустым стаканом.

Круглова вошла, разулась бы, но на ней были бахилы, в них она и осталась, на половике, с папкой. Денис остался в дверях. Увидев меня за столом, Круглова не удивилась. Она записала.

— Андрей Павлович. Вы здесь по какому поводу?

— Сосед. Чай пью.

— Зафиксирую «сосед». — Она открыла папку на листе Лао Чжана, на реестре с колоском. — Ряпушкина Пелагея Прокловна?

— Я.

— По данным территориального самоуправления ваш год рождения… — Круглова назвала год. — Подтверждаете?

Поля посмотрела на меня. Я ничего не сделал, не кивнул, не покачал головой, держал пустой стакан.

— Сколько в бумаге, столько и есть. — Поля сложила руки на кофте. — Я бумаге не перечу. Бумага умнее. Вон у меня из района бумага, там ещё на год больше, я и ей не перечу. Хотите, покажу?

— Не требуется. — Круглова писала. — Данные подтверждаю. По списку территориального самоуправления. — Она перевернула лист. — Условия проживания?

— Печка. Колодец. Погреб. — Поля загибала пальцы. — В погребе смотритель сегодня смотрел. Тихо.

— Зафиксирую «погреб: тихо». — Ручка шла с нажимом. — У вас есть вопросы к нам, Пелагея Прокловна? Жалобы, обращения? Мы принимаем.

— Петух. — Поля кивнула на окно. — Вон, на берёзе. Он у меня к смотрителю повадился, через всё село, я его назад ношу, а он опять. Это по вашей части?

Круглова посмотрела в окно, на берёзу, на петуха с хвостом на сторону, потом в папку. Во второй её, поверх, я прочёл то же, что в понедельник у козы. В папке петуха не было.

— Зафиксирую. Коллега, отметьте: петух.

Денис отметил. Он записал слово «петух», поставил после него знак вопроса, потом стёр знак вопроса и оставил петуха.

Они ушли через десять минут, по списку, к следующему долгожителю. Бахилы шуршали по Нижнему концу вдоль заборов, к следующей калитке, за которой по бумаге тоже жил кто-то, кому за сто. Поля закрыла за ними дверь, вернулась, села и долго глядела на подушку.

— Они не те. — Она сказала это подушке. — Ты прав. Те бы спросили, одна ли я живу. Эти не спросили. Эти спросили год. — Она встала. — Чай будешь ещё? Горячий. У тебя-то, говорят, холодный.

— Буду.

Крыльцо сельпо к вечеру заняла ватага, все трое. На перилах, где утром лежала ведомость, теперь лежала одна бумага, одна-единственная, Серый держал её прижатой ладонью, чтобы не сдуло.

Я шёл домой с Нижнего конца через сельпо, с утренним хлебом под мышкой и с Полиным чаем внутри, чай продержался до вечера. Ведомости на перилах не было. Про ведомость сказал Толян, не вставая с корточек, одной фразой, между делом, когда я поднялся на первую ступень.

— Ведомость Мелкий на растопку взял, это не наш отдел, у нас с подписями не живут, а бумага хорошая, плотная, горит ровно, и всё. Венец, начальник, я тебе утром говорил, и в понедельник говорил, он с угла, ты обойди, когда домой пойдёшь, с той стороны не ходи, а то он на тебя, а ты на нас, а мы ни при чём.

— А чё, ну типа, ведомость не вся на растопку. — Мелкий вынул руки из карманов, в карманах не загремело, руки были пустые. — Я одну оставил. Для сравнения. Как с биркой, Серый сказал, первую не трогаем, остальные по описи, а первая… ой. Ну типа, я про растопку.

Серый на спинке скамейки не повернул головы, только коробок у него переехал из кулака за ухо. Это означало, что Мелкий сказал лишнее, а лишнее сегодня в цену не входит.

Серый поднял ладонь с бумаги.

— Начальник. Сдача.

— Какая сдача?

— Такая. — Он взял лист за уголок и поднял. — Я к ним за сдачей ходил. Они утром двести дали, а цена была сто восемьдесят, это я потом посчитал, я цену не ломлю, я двести сказал для ровного счёта, а потом совесть. Я пошёл в коттедж. Там этот, в очках, один, тётка в машине отчёт пишет, третий у машины курит, а этот сидит на крыльце. Я говорю: сдачу. А у него мелочи нет. У них у всех мелочи нет, они как Галина. И он мне, чисто по-братски, говорит: я не должен, но. И даёт вот это. Говорит: это копия, у нас копий три, одну можно. Вместо сдачи. Я взял. Бумага за бумагу, это честно.

Он протянул мне лист.

Это был список Лао Чжана. Тот же, с колоском, только копия, бледнее, с широкими полями. На полях, справа, против фамилий, стояли пометки. Ручкой, мелко, с нажимом, почерком, знакомым мне по вверх-ногам в собственной кухне. Круглова прошла по списку сверху вниз и писала на полях то, что видела.

Против Ряпушкиной П. П. стояло: «подтв. по списку ТОС. Погреб: тихо». Против Тимофеевны: «подтв.», без погреба. Против Евсея Кузьмича, который в списке Лао Чжана значился вахтёром бани с восьмидесятилетним стажем: «подтв. по журналу». Это была единственная строка, против которой Круглова ничего не прибавила от себя, журнал она, похоже, уважала. Против Зинаиды: «коза, не объект». Против Галины: «кот (?)», знак вопроса здесь стёрт не был. Против Совхозной, первой, квартиры три, в самом низу, где Лао Чжан держал квартиры отдельно от домов, стояло то, что я уже знал от Пыжова у калитки, только теперь в две строки, аккуратно, с сокращением: «опр. 11.08, 7:00. Единств. чел. по адр.». Единственный человек по адресу. Это была не её формулировка, она переписала чужую, из той бумаги, по которой приехала, вместе с чужим сокращением. Против Клавдии Петровны: «2 чел. (аномалия)». Коробка у Клавдиной печки, которая запищала, Клавдия с её «чайник». Муж по пятницам, так он сам говорил мне в июле у колодца. Сегодня четверг, коробка пищала в среду. В днях недели путалась или Клавдия, или муж.

Против «Ерошкин Д. Ф.» года не было. Прочерк. На полях другим почерком, крупнее, ровнее, без нажима, почерком человека, который пишет редко и по делу, стояло: «в реестре нет. Проверить лично. С. З.».

С. З.

Степан Засекин. Третий. Игнатьич.

Я поднял голову от листа. Третий стоял у нижней ступени.

Он подошёл с круга, от машины, по обочине, по траве, своей походкой у стен, и остановился в трёх шагах, с сигаретой в левой руке, с нитью на правой. Серебряная нить, два оборота. На моих глазах он намотал третий, медленно, будто так её было крепче держать, и пока он мотал, я смотрел на нить, а не на него, потому что на него смотреть было нечего: ни второй картинки, ни крена, ничего поверх, человек стоял такой, какой был, в кепке, с сигаретой, с руками, которые всегда заняты. Среди всех, кого я видел за неделю, он один не прятал ничего, или прятал так, что мне было не достать. Ватага не шевелилась. Мелкий убрал руки в карманы, в карманах ничего не загремело.

Игнатьич глядел не на меня. В окно сельпо, в витрину с пельменями, в стекло, которое к вечеру начало отражать.

— Бумаги — это её, а серебро моё, так что ты, парень, не дёргайся и руки держи на виду, я тут на тебя пока ничего не думаю.

Это было одно предложение, ровное, без точек. Между «её» и «серебро» он успел затянуться, между «на виду» и «ничего» стряхнул пепел в траву. Потом повернулся и пошёл обратно к машине тем же шагом, по обочине, не оглядываясь. Дверь кроссовера закрылась за ним с тем звуком, с каким закрываются дорогие двери.

Руки я держал на виду. Одна с хлебом, другая с листом.

Серый выдохнул первым. Он перегнулся через перила, ткнул пальцем в лист, в самый низ, в последние строки, где шли адреса с Верхней. Палец остановился не на Совхозной, выше.

Против моего адреса, Верхняя, один, с моими инициалами, тем же мелким почерком с нажимом, что у Клавдии, стояло: «2 чел.».

— Начальник. — Серый не убирал пальца. — А тут написано: два человека. Это ты с кем?

Глава 5. Под музыку

Сообщение пришло к колодцу вчера, в одиннадцатом часу, на две палки. Я прочёл его при свете телефона, с ведром у ноги.

«Андрей Павлович, добрый вечер. Компания просит вас прибыть на проходную комбината в пятницу к десяти часам для уточнения условий ранее сделанного предложения. Пропуск заказан. Каменская».

Ни «пока», ни точки после «Каменская». Писала она так же, как говорила, со слышной улыбкой. Улыбка доходила даже через две палки. Я положил телефон в карман, набрал воды и ушёл в дом, где никого не было. Копию списка с пометками я оставил в сенях, на шкафчике, рядом с банкой соли, пометкой «проверить лично» вверх, чтобы утром не забыть, что она там. Деду я её не повёз. Деду не бумагу. Деду, если уж нести, то бутылку, а с бутылкой к нему ходят другие, у меня с ним договор на чай, и чая у меня четвёртый день нет.

ПАЗ пришёл в четверть восьмого. Глушков сидел за рулём в той же кепке, с той же жвачкой, а на приборной панели, слева от руля, стоял ранец. Детский, розовый, с лампочками по лямке, они мигали на каждой кочке. Я сел у двери, на место Витька, Витёк сегодня ехал раньше, на коляске, в Живино к шкафам.

— Внучке. — Глушков кивнул на ранец, глаза его остались на дороге. — Первый класс. Первого сентября. Жена говорит: вези домой, чего ты с ним по рейсу катаешься, а я говорю: пусть мигает. Он мигает, мне веселее. Мне, городской, до первого сентября две недели с хвостом по этой бетонке, с ним веселее. Ты на комбинат? Я вижу, что на комбинат, у тебя лицо как у тех, кто на комбинат, я их каждое утро вожу, у них у всех одно лицо, они в семь пятнадцать садятся, а лицо у них уже на проходной. Твои-то в бахилах вчера на кругу стояли, машину грели, я мимо ехал. Они у тебя всё сидят?

— Сидят.

— Ну, сиди и ты. Пересидишь. Я бабку свою возил, когда к ней из района ездили, она их пересидела, двоих, а третий сам ушёл, с грамотой.

Он дал по газам, ранец мигнул, ПАЗ вошёл в поворот всем, чем гремит. Я ехал на комбинат в свитере, с пустыми руками, с лицом, которое Глушков узнал по утренним рейсам.

Комбинат стоит за Краснобойском, на отшибе, за бетонным забором с колючкой, с двумя трубами и растяжкой над воротами «Мясо — это жизнь». В июне я её видел из окна ПАЗа и смеялся. Теперь не смеялся. Я вышел на остановке у ворот, один, в девять сорок, в пятницу. Первое, что увидел у проходной, была машина. Серый кроссовер без надписей, с краснобойскими номерами, чистый, стоял у шлагбаума, носом к воротам, пустой.

Они были здесь раньше меня.

Проходная была стеклянная, новая, с турникетом, с охранником за стойкой и с монитором над стойкой, где бежали фамилии тех, кто прошёл. Из-за проходной, из-за корпусов, шла музыка.

Не из радио. Из колонок, больших, уличных, стоявших на столбах вдоль цеха, самого дальнего, самого нового, с новым забором. Музыка была плавная, струнная, лифтовая, из торговых центров, где люди не должны думать, на каком они этаже, шла она без пауз, по кругу. Под эту музыку по подвесным путям за цехом что-то двигалось, лязгая, лязг в музыку не попадал.

Денис вышел из проходной.

Он шёл от турникета к шлагбауму с конвертом в руке, белым, длинным, с чем-то напечатанным на лицевой стороне. Шёл быстро, в бахилах, по асфальту, бахилы на асфальте не рвутся, только шуршат. Свободной рукой он держался за щёку. Не трогал, держался, прижимал ладонь к левой щеке, под ухом, с лицом человека с ноющим зубом, у которого нет желания об этом говорить.

Увидев меня, он остановился. Конверт он опустил, но не спрятал. На нём было напечатано крупно, сверху, одной строкой: «О принятии к рассмотрению». Ниже, мельче: «Заявителю».

— Андрей Павлович. — Он начал с середины, с щекой в ладони. — Я… тут регламент. Понимаете, когда обращение принято, заявителю направляется уведомление. Лично. Под роспись. Это не я придумал. Я просто ношу. Я не должен говорить, кому. Я и не говорю. Я просто стою с ним тут, а вы читаете, а я не могу вам запретить читать, у меня в регламенте про чтение ничего нет.

— Зуб?

— Зуб. — Он прижал ладонь крепче. — С утра. Не болит, а ноет. Как только музыка началась, так и ноет, я не знаю, это совпадение, Андрей Павлович, это должно быть совпадение, у них тут просто музыка в цеху, у них на сайте написано: гуманный убой, с музыкальным сопровождением, снижает стресс животных на какой-то процент, я читал. Я стою, слушаю, и у меня зуб. Это не полевые данные. Это зуб.

Из проходной, с той стороны турникета, вышла Валька.

Со смены. Ночная, с восьми до восьми, она задержалась на час, она всегда задерживается. В куртке, с пакетом, с лицом, какое бывает после двенадцати часов на ногах, шла она прямо, с поднятой головой, мимо охранника, мимо монитора, через турникет, где охранник ей кивнул. У шлагбаума она остановилась. Нос дёрнулся, коротко, вверх, один раз в сторону Дениса, второй раз в сторону цеха.

— Бумагой пахнет. — Это было Денису, не мне, она на него и не посмотрела. — От конверта. Свежая, с принтера. — Потом мне: — Не ходи туда. Там сегодня музыка. Когда музыка, лучше не ходить, я сказала. Домой иди, мой. Я со смены, я спать, я тебя вечером не увижу, так что сейчас: домой. Там Витёк тебе яичницу везёт, из Живина, он нашей вахтовке у «Пятёрочки» махал с банкой, я из окна видела. Шесть яиц. С луком. Это тебе.

Она пошла к остановке, с пакетом, прямая, а Денис стоял с конвертом в одной руке и щекой в другой, провожая её так, как провожают человека, прошедшего мимо монитора без записи.

— Это кто?

— Соседка.

Машина Каменской стояла по другую сторону шлагбаума, на служебной стоянке, чёрная, с тонированными стёклами, с открытой дверью со стороны водителя.

Каменская сидела внутри. Не выходила, не собиралась выходить, сидела боком, ногами наружу, в туфлях на асфальте, с папкой на коленях и со щёлкающей ручкой. Я слышал щелчки от шлагбаума, ровные, как метроном, в такт музыке из цеха они не попадали тоже.

Охранник поднял шлагбаум, не спросив фамилии. Пропуск был заказан, он это знал по лицу, а может, по монитору. Я прошёл к машине и остановился в двух шагах от открытой двери, на дистанции, с какой разговаривают с человеком, который не встал.

— Андрей Павлович. — Ручка щёлкнула и замерла. — Спасибо, что приехали, я понимаю, ПАЗ, бетонка, вы потратили утро, компания это ценит. Я не буду вас задерживать, у меня к вам, по существу, два вопроса и одно сообщение, и я начну с сообщения, чтобы снять напряжение, которое, как я вижу, присутствует. Компания заявлений в сторонние организации, в том числе проверяющие, надзорные и, скажем так, специализированные, в отношении вас, вашего дома и вашего населённого пункта не направляла. Ни в июле, ни в августе, ни в иной период. Это официальная позиция, вы можете на неё ссылаться. Предложение о выкупе дома в силе, с учётом рыночной цены и всех обременений, о которых мы говорили, срок принятия решения компания продлила до конца августа, то есть до тридцать первого, включительно. Это первое. — Ручка щёлкнула. — Второе: а это кто с вами?

Она смотрела мимо меня, на шлагбаум, где стоял Денис с конвертом и щекой.

— Не со мной. Он сам по себе. Он здесь по регламенту.

— Я вижу, что по регламенту. — Она записала. Два слова, не больше. — Хорошо. Я спросила для протокола, у компании есть правило уточнять состав участников встречи. Ваш ответ?

Я молчал.

Не потому, что нечего было сказать. Потому что я глядел на неё дольше секунды, дольше трёх, по-июльски, как на Шеймуса в траве. Ждал. У Шеймуса тогда ничего не встало. У неё встало.

Поверх Каменской, с той же ручкой, с той же улыбкой, которую слышно, сидела вторая она. У второй папка на коленях была открыта. Не та папка, что у первой, закрытая, с обременениями. Другая. Во второй папке лежал лист, верхний, с шапкой. Шапку я видел отчётливо, крупно, как видят то, что от тебя прячут: эмблема комбината, бычок в каске, улыбающийся, с кольцом в носу, тот самый, что на растяжке над воротами и на каждой пачке сосисок в сельпо. Под бычком строки, печатные, ровные, а внизу, где подпись, пусто.

Бланк. Их бланк, комбинатский, с бычком. И такой же бычок, точно такой, в каске, с кольцом, стоял в углу конверта у Дениса, там, где обратный адрес заявителя. У шлагбаума я видел его краем глаза, не придав значения. Теперь придал.

Каменская закрыла папку. Первую, настоящую. Вторая закрылась вместе с ней.

— Вы молчите, Андрей Павлович. Это тоже ответ, компания его зафиксирует как «воздержался». — Ручка щёлкнула дважды. — Тогда я резюмирую: предложение в силе до тридцать первого, заявлений компания не направляла, присутствующий молодой человек с нами не связан. Всё верно?

— Верно. — Это прозвучало у меня спокойно, по-правдивому: правда была в том, что я видел, а не в том, что слышал. — Всё верно, Эльвира Ринатовна. Компания не направляла.

Направлял кто-то на бланке компании, с бычком. Этот кто-то лежал у неё в папке верхним листом, а она сидела на нём, как сидят на чемодане, чтобы закрылся.

Вслух я не сказал ничего. Доказать было нечем. Вторую картинку к делу не подошьёшь.

— Тогда до свидания, Андрей Павлович. Пропуск сдайте на проходной, у нас с этим строго. Пока.

Дверь закрылась. Тонированное стекло поднялось, за ним осталась тень с папкой. Тень не шевелилась.

Я пошёл к проходной сдавать пропуск. Охранник взял его одной рукой, сунул в ящик, а над его головой, на мониторе, где бежали фамилии прошедших, я увидел свою. Строка выскочила снизу, как выскакивают все, с фамилией и инициалами, с временем входа и выхода, а в конце строки, там, где у других стояла должность или «посетитель», стояло другое.

«Ладыгин А. П. — статус: смотритель (самоназв.)».

Я прочёл дважды. Охранник не обернулся, такое у него бежало сотнями в день. Строка ушла вверх и пропала, на её место пришла следующая, какой-то Мезенцев, технолог.

— Смотритель. — Охранник всё-таки поднял голову, к монитору, потом ко мне. — Это должность? У нас такой нет. У нас сторожа, у нас вахта, у нас охрана. А смотритель это где, это на маяке? Я просто спрашиваю, у меня в списке должностей нет, а система пишет. Система у нас умная, она сама пишет, ей не говорят. Она про меня написала «охранник (временно)», а я тут девять лет.

— На маяке, — согласился я.

Это написал не охранник. Это написала программа, та самая или её сестра, собирающая по номеру телефона всё, что про человека есть, в одну строку. Три дня назад Круглова записала в анкету слово «смотритель», Витёк во вторник сказал ей «все так говорят», она поставила «все» в кавычках. Где-то между вторником и пятницей анкета ушла туда, где её читает бот.

Бот прочёл и поставил в скобках «самоназв.». Он всё делал аккуратно. У нас в отделе он тоже всё делал аккуратно, пока не начал писать стихи.

Я вышел через турникет на улицу, к музыке. Зуб у меня не ныл, ныло другое, под свитером, слева, искать этому название я не стал.

Пыжов подвёз. Круглова осталась в Краснобойске, в администрации, «работать с отчётом», по его словам, так что кроссовер был его на весь день, а ПАЗ обратно шёл только в семь.

Я сел справа. Спереди, на место, с которого, по словам Вальки, пахло серебром. Серебром не пахло, пахло новой машиной, кожей и слегка табаком, не свежим, впитавшимся. На панели, перед моим коленом, лежал прибор, серая коробка, выключенный, с чехлом. Денис вёл медленно, двумя руками, по-приборному. Щёку он больше не трогал, за рулём было нечем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.